Общественное объединение
«Республиканский фонд „Холокост“»

Национальный архив
Республики Беларусь

# Выжить — подвиг

## Воспоминания и документы о Минском гетто

Минск
НАРБ
2008

УДК 94(=411.16) (476-25) „1941/1945“(093)
ББК 63.3 (4Беи)622
В 92

Составители:
*И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев*

**Выжить** — подвиг: воспоминания и документы о Минском гетто / сост., пре-
В 92 дисл.: И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев. — Минск : НАРБ, 2008. — 000 с. : ил.

ISBN 978-985-6372-59-2.

Впервые публикуются воспоминания узниц Минского гетто Рахили Раппопорт и Берты Маломед. Воспоминания дополнены записями бесед 1942—1944 гг. сотрудников разведотдела Белорусского штаба партизанского движения с партизанами — бывшими узниками Минского гетто, подпольщиками. Издание рассчитано на историков, архивистов, работников музеев, будет интересно широкому кругу читателей.

**УДК 94(=411.16) (476-25) „1941/1945“(093)**
**ББК63.3 (4Беи)622**

**ISBN 978-985-6372-59-2**

© Герасимова И.П., Селеменев В.Д.,
составление, предисловие 2008
© Национальный архив Республики Беларусь, 2008
© Общественное объединение
«Республиканский фонд „Холокост“», 2008

# Предисловие

В этой книге, выход которой приурочен к скорбной дате — 65-летию уничтожения Минского гетто, опубликованы воспоминания двух женщин, Рахили Раппопорт и Берты Маломед, бывших узниц гетто, сумевших выжить и выйти в партизанский отряд. Их воспоминания дополнены архивными документами и материалами, продолжающими эту тему.

О Минском гетто с начала 90-х годов прошлого века, казалось, написано немало, но наиболее важным является то, что написано самими бывшими узниками. Опубликован ряд книг воспоминаний. Авторами их являются те, кому в годы нахождения в гетто, было по 6—10 лет, а иногда и того меньше. Однако для воссоздания истории Минского гетто необычайно важны и необходимы воспоминания бывших узников старших по возрасту.

Некоторые воспоминания написаны в 1950—80-х годах и хранятся в Национальном архиве Республики Беларусь. Их можно разделить на две части. Одна — это свидетельские показания бывших узников, которые они давали во время бесед с представителями Министерства государственной безопасности и сотрудниками Института истории Академии наук БССР. Другая — непосредственно воспоминания, написанные узниками. Все эти документы собирались Институтом истории партии, в основном, для изучения темы «Руководящая роль коммунистической партии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков» и, естественно, многие из воспоминаний несут на себе печать идеологических и политических тенденций того времени. Поэтому многие важные факты из истории гетто авторы в те годы или просто замалчивали, или интерпретировали в соответствии с партийными указаниями. Тогда было невозможно писать о страшных годах войны искренне и правдиво.

В качестве примера можно привести известную книгу узницы Минского гетто партизанки Анны Красноперко «Пісьмы маёй памяці», вышедшую в 1985 г. в Минске. Эта была одна из первых книг воспоминаний о Минском гетто, и в начале 1990-х годов журналист М. Книжник писал о беседе с автором книги: *«Анна Давыдовна рассказала, как много страшного было потом после побега из гетто. Как их отталкивали партизаны. «Мне евреи не нужны», — говорил им командир одного отряда. Другой побоялся утечки информации и послал человека их расстрелять. Я спросил:*

*— Почему Вы об этом не напишите?*

*— Ну, что Вы! Разве об этом можно писать?— искренне удивилась она».* («Знамя», 1993, № 9, с. 204).

Многие выжившие узники сразу после войны и в последующие десятилетия были вынуждены скрывать свое нахождение в гетто. Им не доверяли, как лицам, находившимся на оккупированной территории. Сегодня известно, что в 1970—80-х годах некоторые воспоминания были написаны бывшими узниками гетто в двух вариантах: один — для Института истории партии, другой — для себя, не предполагая, что придет время и эти записи могут быть опубликованы. Наиболее ярким примером служат два варианта воспоминаний известной подпольщицы бывшей узницы Минского гетто Хаси Пруслиной.

Публикуемые воспоминания Рахили Раппопорт и Берты Маломед — это воспоминания бывших узниц Минского гетто, партизанок из еврейского семейного отряда № 106, который был организован из минчан. Руководил отрядом Шломо Зорин, комиссар и начальник штаба также были в прошлом узниками Минского гетто.

Не случайно эти воспоминания опубликованы под одной обложкой: обе женщины пишут об одном гетто — Минском. Рассказывают они, казалось бы, об одних и тех же событиях и даже людях. Но каждая из них представляет *свое* видение и свое понимание этих событий, и перед читателем, даже знакомым с историей гетто, возникают иные, более глубокие и объемные представления, связанные с понятием — «Минское гетто». И дело не только в том, что каждый человек индивидуален, но и в том, что многое разделяет авторов. Во-первых, возраст: Рахили Рапппопорт к началу войны было уже 30 лет, а Берте Маломед только 14. Во-вторых, время написания воспоминаний. Рахиль Соломоновна Раппопорт свои воспоминания писала в Минске в начале 1980-х годов, никак не предполагая, что они могут быть опубликованы. Возможно, именно поэтому ее записи так откровенны и поражают обнаженной правдой, иногда смешанной с элементами натурализма. Небольшие по количеству страниц, эти воспоминания очень насыщены новыми, неизвестными до сего времени фактами, заставляющими по — иному представить историю Минского гетто и всего оккупационного периода в городе в целом.

Несомненно, побудительным мотивом к написанию этих воспоминаний послужили, прочитанные Рахилью Соломоновной видимо в 1970-х годах, воспоминания близкой подруги Нюры — Анны Мачиз. Юрист по образованию, член партии, до войны Мачиз работала в Прокуратуре БССР. Она после выхода из Минского гетто в партизаны в 1943 г. дала показания о Минском гетто, хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь. Позже для Института истории партии ею были написаны воспоминания, несколько отличающиеся от показаний. Эти различия касались в основном деятельности подполья Минского гетто и партизан. Относительно описания ситуации жизни в гетто, оба варианта показаний А. Мачиз, идентичны. Вероятно, именно поэтому Рахиль Самуиловна прибегает к цитированию А. Мачиз в том случае, когда требуется точное подтверждение какого-либо события или факта, происходящего в гетто.

Воспоминания Берты Давыдовны Маломед написаны в Израиле, где она живет уже более 20 лет. И писались они для того, чтобы их прочли ее дети и внуки. Несмотря на давность описываемых событий, автор пишет о них с множеством мельчайших деталей настолько ярко, что кажется — это все написано было еще в те далекие годы, по свежим следам происходящего.

Истории побега из гетто обеих героинь являются очень важными для понимания особенности еврейского сопротивления, так как сегодня многие не могут понять причин, которые не позволяли узникам выйти из гетто. Некоторые так и считают, что у евреев просто не хватало смелости для этого. Читатель поймет и почувствует, *что значит* было решиться уйти из гетто одному, без помощи и поддержки, не зная дороги к партизанам, человеку, по внешности которого сразу определялась его национальность.

Публикация документов позволяет документально подтвердить события, происходившие в Минском гетто и дополнить воспоминания. В книгу включены показания минского подпольщика Рафаила Бромберга, бывших узников Минского гетто, партизанок Енты Майзлес, Фриды Гурвич, Ханны Рубинчик, а также члена минского городского подполья Владимира Степановича Казаченка.

Беседы, как были названы эти официальные показания, проходили в разные годы. Руководством минского городского подполья Р. Бромберг был отправлен в партизаны и через некоторое время, в октябре 1942 г., перейдя линию фронта, дал показания начальнику информационного отделения разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Ивану Сергеевичу Кравченко, впоследствии известному историку, академику АН БССР. Это одно из первых подробных свидетельств о Минском гетто. Но Р. Бромберг не являлся узником гетто и не был непосредственным свидетелем и участником происходящих в гетто событий, он имел информацию о происходившем там из различных источников.

Через месяц, в декабре того же года, Е. Майзлес и Ф. Гурвич с группой партизан также перешли линию фронта и отвечали на вопросы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого. Он родился в 1906 г. в г. Чечерске Гомельской области в семье рабочих. В 1917 г. закончил 4 класса народного училища, а в 1923 г. пошел учиться на курсы советских работников в Ленинграде. Перед войной работал первым секретарем Жлобинского райкома КП(б)Б. В начале войны его жена, Буня Геселевна Раскина, и двое детей, сын Виля, 15 лет, и дочь Инна, 8 лет, были эвакуированы в Тамбовскую область, а Наум Абрамович ушел на фронт. В 1942 г. его переводят в Белорусский штаб партизанского движения. Его лично интересовала тема Минского гетто, так как семья его жены (13 человек) погибла в гетто города Чаусы, а родной брат расстрелян фашистами в г. Чечерске.

Показания Е. Майзлес и Ф. Гурвич о гетто более точны по датам, в них много деталей. Ведь они являлись непосредственными участниками событий, неоднократно сами находились на краю гибели и пережили гибель родных и близких.

Беседы с Х. Рубинчик и В.С. Казаченком проводились в феврале 1944 г. К этому времени данных о Минском гетто было собрано значительно больше, и вопросы, которые задавались тем же Н.А. Коссым, касались подробностей происходящего в гетто и в городе Минске. Каждое их этих показаний, несмотря на кажущиеся повторения в некоторых деталях, дополняет и подчеркивает какие-то прежде неизвестные или малоизвестные, но очень важные моменты в истории Минского гетто. В годы, когда проходили эти беседы, 1942—1944, еще не был широко известен преступный, человеконенавистнический фашистский метод «решения еврей-

ского вопроса» на территории СССР, и рассказы немногочисленных выживших и попавших к партизанам узников, естественно, вызывали большой интерес у представителей власти.

Благодарим за помощь в издании книги Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин, Агентство для Израиля «Сохнут», Представительство американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт» в Республике Беларусь, Белорусское землячество объединенной ассоциации восточноевропейских евреев в США, лично Аду Ароновну Калганову (Москва). Иллюстрации представлены Музеем истории и культуры евреев Беларуси.

*И.П. Герасимова,*
директор Музея истории и культуры евреев Беларуси,
председатель Общественного объединения
«Республиканский фонд „Холокост“»

*В.Д. Селеменев,*
директор Национального архива Республики Беларусь

# ВОСПОМИНАНИЯ

*Рахиль Раппопорт*

# ОСТАТЬСЯ СОБОЙ

Иногда они похожи на сон, такими необычными причудливыми возникают в памяти события, увлекшие тебя, как щепку, в водоворот. Бывают воспоминания, как фонарь, беспощадно освещающий темные углы памяти, когда хочется скорчиться, убежать, спрятаться не только от других — от себя самой. Такие воспоминания, как кошмар, в бреду иногда врываются в сновидения, и в смертельной тоске, с колотящимся сердцем опять мечешься, ищешь выхода, не находишь его, а убийцы подходят все ближе. Затем пробуждение в холодном поту, и не сразу понимаешь где ты, что с тобой, пока, наконец, осознаешь, что это был только сон… Но это была и действительность, твоя действительность, действительность миллионов людей, которая завершилась для них не благополучным пробуждением, а ни с чем несравнимым ужасом насильственной смерти.

Апофеозом мироздания считается возникновение жизни на земле — от скромной травки, прорастающей на пыльной дороге, до бесчисленных форм всего сущего. Наконец, человек! Человек — творец, мыслящий, чувствующий, все понимающий и умеющий — великий хозяин земли. Человек — это звучит гордо! Красиво сказано. А из какой же преисподней выползают чудовищные, злобно кривляющиеся, одержимые идеей своего превосходства, уродливые маски? Откуда берутся они, уверенные в своем праве уничтожать тех, кого посчитали ниже себя, а если не уничтожить, то хоть поглумиться? А до каких изощрений додумаются будущие убийцы? Цивилизация совершенствуется. Будем надеяться, что человечество найдет способ справиться со своими убийцами прежде, чем они уничтожат его.

Я погружаюсь в свои воспоминания, где озарив весь мир зловещим светом, всплывает на горизонте новое светило — чудовищно кривляющаяся маска Гитлера. Не цветы вырастали, где светило оно, а стлался за ним смрадный запах разлагающихся трупов. Собственно, это давно и хорошо всем известно. Моя задача — значительно скромнее — рассказать о своей малозаметной жизни, вернее, об определенном ее периоде во время пребывания в Минском гетто.

Предварительно несколько слов о себе и своем бытие перед тем, как развернулись эти события.

## Моя жизнь до войны

Как все на свете относительно. Я считала свою молодость несчастливо тяжелой. После смерти отца и женитьбы брата у меня на руках осталась парализованная мать. В силу полной беспомощности она требовала постоянного ухода. Ее невозможно было оставлять одну, а мне нужно было работать. Мои родственники, жившие, к счастью, в одном со мной доме, помогали, как могли, но все же нужна была женщина ухаживать за больной. Женщин находили, они появлялись и быстро исчезали, пока, наконец, мне привели Соню, взбалмошную Соньку — девицу с особым характером и повадками.

Соня не тяготилась уходом за мамой — море ей было по колено и вообще, все на свете нипочем. Из всего многообразия человеческого поведения, ей, как мне казалось, были известны только две его разновидности: она или хохотала или ругалась. Сонька любила с хохотом повалиться к маме на кровать, покататься по ней, потормошить маму. Вместе с тем, она ее не обижала и не брезговала ею. Взявшись управлять моим хозяйством, Соня делала все, что ей вздумается, и поставила меня в полную зависимость от себя. Только с ее разрешения я имела право отлучаться из дома, пойти в кино или на концерт. Все вечера принадлежали Соне. Она любила погулять, и кавалеры не сходили у нее с языка. Недостатка в кавалерах не было, напротив дома, через улицу, была казарма. Как кошка она исчезала к ночи из дома и возвращалась, нередко, только к утру. Заваливалась сразу спать, а проспавшись, с упоением рассказывала маме о своих ночных похождениях, которые она в силу своего состояния плохо понимала. Хуже было, когда в сумасбродной Сониной голове внезапно появлялось желание съездить к родителям на деревню. Нимало не считаясь с моими возможностями, она испарялась из дома, когда хотела и насколько хотела. К счастью, ее мать не проявляла к ней должного терпения и быстро выставляла ее за дверь. Что же касается уроков морали, которыми ее наставляли дома, она их вовсе не хотела терпеть. Возвращалась она обычно в самом развеселом настроении и принималась хозяйничать по собственному усмотрению. Здесь ей морали никто не читал. Вскоре Соня сделалась знаменитостью не только в нашем большом густонаселенном доме (в одной нашей квартире жило пять семейств, в каждой комнате по семье), но и на всей улице. Очередей она не признавала, а когда появлялась в магазине, то без долгих церемоний всех расталкивала и становилась первой у прилавка. Самые крикливые и скандальные бабы с нашей улицы безропотно расступались перед ней. Соня действовала языком, локтями, могла и пинка надавать.

Веселый образ жизни привел к тому, что в один, отнюдь не прекрасный для меня день, она забеременела. Об этом обстоятельстве она умолчала, а я, погруженная в свои заботы, сразу не заметила. Рожать она не хотела, аборта — боялась, а когда об этом заговорили, было уже поздно. Таким образом, нам предстояло прибавление семейства, а Сонина мать, прослышав о ее делах, дала знать из деревни: «На порог ее, мерзавку, не пущу!». И вот, пришло время, когда я проводила Соню в роддом, а через неделю она возвратилась с крошечной здоровой девочкой, которую мы назвали Лизочкой. Лизочку Соня пристроила в ногах своей кровати, и ста-

ли мы в своей единственной комнате жить да поживать вчетвером: я, моя парализованная мама, со всеми атрибутами по ее уходу, которые нельзя было вынести за дверь в общей квартире, и Соня с Лизочкой. Был еще один жилец — моя любимица, кошечка Мурлинька. Мурлинька относилась ко мне с какой-то не зверушечьей привязанностью: узнавала мои шаги еще на лестнице и всегда встречала меня на пороге. Кроме того, у нее было определенное сходство со мной: она, как и я, боялась мышей.

С маленьким ребенком на руках, Соня вынуждена была оставаться ночами дома, но подобный образ жизни быстро ей надоел и, спустя несколько месяцев, она опять с вечера исчезала и возвращалась домой поздно ночью или поутру. Мои же ночи превратились в кошмар — орущий младенец и больная мать, чуть ли не каждый час требующая подкладное судно. Соне вскоре ребенок надоел, ее раздражали возня с малышкой, кормленье, мытье пеленок и все эти, свалившиеся на нее обязанности. А поступаться своими привычками было не в ее обычае. Она стала донимать меня требованиями пристроить малышку в дом грудного ребенка и пришлось потратить немало времени, хлопот, просьб, беготни по учреждениям, прежде чем удалось этого добиться. Когда Соня уносила из дома Лизочку, мама упрекала ее и горько плакала — не раз и не два Соня подкладывала ей ребенка и своей здоровой рукой мама играла с нею. Она привязалась к малышке. Я же, глядя на крошечное Лизино личико, еле сдерживала слезы. Одна только Соня отнеслась равнодушно к прощанью с ребенком — ей не терпелось от него избавиться. Сдав Лизочку в дом грудного ребенка, она ни разу ни вспомнила о ней, словно никогда на свете не было этого маленького существа. Не вспомнила о ней и позже, когда спустя несколько месяцев, от рвущихся бомб заполыхал город, сгорел и дом грудного ребенка с Лизочкой и с другими, такими же беспомощными росточками жизни.

## Первые дни войны

Каким восхитительным было утро 22 июня 1941 года. Праздничное сияние солнца, нежное тепло его, запахи свежей зелени — во всем была радость и жизнь, жизнь, жизнь! И день отдыха — воскресенье. У меня это день был рабочим. Чтобы увеличить свой небольшой врачебный заработок, я взяла дополнительную работу в психиатрической колонии. За мною прислали старомодную таратайку, и я со спокойной душой, ничего не подозревая, покатила за город. Спокойно работала несколько часов, как вдруг, внезапно, меня с пронзительным криком позвала медицинская сестра: «Скорее идите сюда, скорее, по радио передают речь Молотова — началась война!».

Первые разрывы бомб, вначале не очень частые, и глубокая моя растерянность: что делать с мамой, что делать, если меня призовут в армию. Куда девать ее? Брат с беременной женой, ее также беременной сестрой, еще с маленьким годовалым ребенком и их престарелыми родителями, успел увести их из города. Я уже не видела их и не успела проститься с ними. Мне осталось принять только одно решение — взять маму в свою больницу. 23 июня, с трудом, где-то раздобыв извозчика, под разрывы бомб, с его помощью сволокла маму вниз с третьего этажа. Дом в это время был полностью безлюден, соседи попрятались внизу в под-

валах, а Соня куда-то сбежала. Помню, что слезно умоляла извозчика, порывавшегося уехать, не бросать нас и довезти до больницы. Когда положила маму в палату, в своем отделении, где работала, мне стало как-то спокойнее: что бы там ни было, она не одна в пустом доме, а в медицинском учреждении, где за нею присмотрят, если меня мобилизуют, возьмут в армию. Теперь моя жизнь целиком была связана с больницей, а в ней был какой-то разброд — часть врачей не являлась на работу. Другие ходили растерянные, потрясенные.

Я ожидала вызова в военкомат, но мне повестки не было. Из нас, психиатров, вызвали в военкомат только двоих — врача Плавинского, и он честно отслужил всю войну, как говорят — от звонка до звонка. А вторым врачом была Надежда Александровна Абрамова, особа, о которой стоит сказать несколько слов. Высокомерная, никого не замечавшая, пренебрежительно поглядывавшая на своих товарищей по работе, она ни с кем не общалась. Вместе с тем, подчеркивая свое превосходство, смогла пролезть в аспирантуру, доказав остальным, что она не одного поля ягода с ними. Вызванная в военкомат, она, как ни в чем не бывало, появилась на другой день на работе, нацепив на голову повязку, из-под которой иронически поглядывала на нас. У нее никто не спрашивал объяснений, но она сочла раз десять объявить, что ее, мол, ранило осколком в лоб, когда шла она в военкомат и посему поводу дойти не смогла. Она могла обойтись и без этого маскарада — до нее никому не было дела. Маскарад окончился, когда в город ворвались немцы, и тогда, вздохнув полной грудью, уважаемая Надежда Александровна объявила, что она счастлива, что под руинами погребено то, что так много лет ее угнетало.

Город уже был в развалинах, пылал, из развалин еще доносились стоны и крики заживо погребенных, раненых, искалеченных, горевших в огне людей, которых некому было спасти — и это было то, что столько лет угнетало Надежду Александровну. Советская власть и весь город были в неоплаченном долгу перед ней. Оказывается, дом ее папаши перешел государству, и, кроме того, она была дворянских кровей. Скоро она стала сотрудничать с оккупантами. Вчера — она рядовой советский врач, сегодня — активный нацистский деятель, руководитель женской группы фашистской молодежной организации. К сожалению, возмездие, не настигло ее. В последний момент она со своими покровителями успела улизнуть из города и в настоящее время благоденствует в Западной Германии. Сама не понимаю, зачем уделяю ей столько внимания. В конце концов, какое отношение она имеет к моей судьбе, трагедии родного города и всей страны? Видимо, болезненно обостренное внимание прочно зафиксировало в памяти злорадную усмешку сухого длинного недоброго лица.

Если вспомнить об апокалипсисе, то подлинным днем апокалипсиса для Минска было 24 июня 1941 года. Утро было прелестным, свежим и солнечным, как и в предыдущие дни с начала войны. Проснувшись рано в дежурке больницы, из которой уже не уходила, я спокойно слушала доносившиеся с улицы привычные городские шумы, возгласы больных, возню санитарок, убирающих палаты. Как будто ничего не случилось, и все идет как обычно. Но что это? Ухо улавливает какой-то незнакомый посторонний звук. Он постепенно нарастал, усиливался,

перешел в грозный несмолкаемый гул, и, казалось, нет уже ничего на свете, кроме рева приближающихся самолетов, неотвратимого, как пришествие страшного суда. И, наконец, он, этот страшный суд над мирными жителями ни в чем не повинного города. Он уничтожался весь день планомерно, методично и безнаказанно. Казалось, само небо извергает смерть, а время остановилось. Был сплошной непрекращающийся грохот, с визгом неслись на землю воющие бомбы, обваливались стены домов, а в еще уцелевших зданиях все содрогалось, ходуном ходили полы, двери, с потолка сыпалась штукатурка, стекла со звоном вылетали из окон. Светлый день померк, горизонт застлали дым от пожарищ, вздымающиеся кверху столбы пыли, пепла, подброшенные силой ударов обломки.

Как-то так получилось, что в трехэтажном здании женского психиатрического корпуса из врачей осталась я одна. Бомбежка началась рано, кажется, кто-то еще не успел явиться на работу, кто-то побежал домой к семье, возможно, кто-то укрылся в щелях, вырытых во дворе больницы. Не могу сказать, не помню. Не знаю, был ли кто-нибудь в соседнем мужском психиатрическом корпусе, но видела, что во двор больницы непрерывно привозили раненых. Помещали их в хирургические и терапевтические отделения третьего корпуса больницы, где часть врачей работала. Как бы то ни было, на меня внезапно легла необходимость решать, причем немедленно решать часть вопросов, к которым я вовсе не была подготовлена. Медицинские сестры и санитарки, стойко остававшиеся на своих постах, не покидали больных, непрерывно прибегали ко мне и требовали что-то сделать и найти какой-то выход. Дело было в том, что море огня приближалось к больнице и охватывало кольцом больничный двор. Уже загорелись находившиеся у стен постройки различных подсобных помещений. Была угроза, что пламя перекинется на больничные корпуса. Медицинский персонал потребовал открыть двери всех психиатрических отделений, что бы в случае пожара или прямого попадания бомбы, больные смогли бы выбежать из здания. Мне кричали: «Больных надо спасать, а мы также не желаем сгореть с ними заживо». Я не могла этого разрешить — выпущенная во двор толпа психически больных, полностью дезорганизовала бы работу по оказанию помощи раненым, которых во дворе становилось все больше и больше. Мне удалось упросить сестер и санитарок не открывать дверей, но распорядилась спустить всех больных на первый этаж, откуда, уже в случае крайней необходимости их легче было выпустить.

Скученные в одном месте, спущенные со всех трех этажей больные представляли неописуемое зрелище. Устрашенные всем происходящим, они были неистово возбуждены и при грохоте каждого бомбового удара с воплями бросались к двери, пытаясь ее вышибить. Меня же поразило и навеки запомнилось поведение одной молодой женщины. Она, единственная, не плакала, не кричала, а разрывы бомб приветствовала громким хохотом и неистовым плясом. Это было пострашнее воплей и бега других больных.

К вечеру этого ужасного, неописуемо длинного дня, бомбежка постепенно утихла. Здания вокруг больницы догорали и непосредственная угроза, что пламя захлестнет больничные помещения, исчезла. Больница погрузилась в мрак, электричество не горело, но окна освещались зловещим заревом горящего города.

Измученные больные затихали, некоторые заснули, улегшись на полу. Я зашла в дежурку, куда с помощью санитарок втащила свою несчастную мать. Не способная двигаться, она глядела на меня измученными глазами. И в это миг, словно в озарении, я с предельной ясностью поняла, что ее ждет, и еще я поняла, что смерть от моей руки она примет доверчиво и без страха. Впотьмах я стала искать ключ от ящика с ядами, где хранился морфий, но найти его не могла. Сомневаюсь, решилась ли бы я в последний момент ввести ей наркотик, но в последующем глубоко сожалела, что этого не сделала.

Этой же ночью, со двора больницы, погрузившись на грузовые машины, уехала группа врачей и профессоров с семьями. Речи не могло быть о том, чтобы всадить между ними маму. Я стояла и глядела им вслед с чувством глубокой обреченности. На улицах началось приглушенное движение — толпы горожан устремились за пределы города. Бежали с детьми, навьюченные котомками, чемоданами, многие без всяких вещей, стараясь уйти как можно быстрее до рассвета, до времени, когда стаи железных хищных птиц вновь ринутся на город.

В течение одного дня город был полностью разрушен. Уцелели деревянные окраины, отдельные дома в центре, несколько улочек, некоторые больницы и театры. Впоследствии убийцы хвалились: они имели приказ фюрера — больницы, церкви и театры сохранить. На другой день мне удалось увезти маму за город в психиатрическую колонию. Заведующий колонией, пожалев меня, когда я к нему прибежала, прислал за мамой телегу. Там пока было безопасно. Я же вернулась в больницу. В последующие дни город еще бомбили, но изредка, как-то вяло — нечего уже было разрушать — город лежал в развалинах и догорал.

Прошло еще несколько дней. Оставшуюся без главного врача и его заместителя больницу возглавил по своей инициативе врач Афонский Сергей Михайлович и смог мужественно наладить работу по оказанию помощи больным и раненым, которых непрерывно привозили. Он организовал также питание их и медицинского персонала из продуктов, хранившихся в больничных складах, приняв меры к охране их, так как город голодал уже. Врачи, оставшиеся в больнице, независимо от специальности, были брошены на уход за ранеными. Большинство из них были военнослужащими, меньшинство — из городского населения. Пробираться по больничному двору от здания к зданию было опасно. На чердаках засели диверсанты и обстреливали тех, кто появлялся во дворе. Пробежки делали зигзагами, петляя, как зайцы.

28 июня во второй половине дня в город ворвались первые немецкие части. Впереди мчались мотоциклисты, стрелявшие по обе стороны улицы. Город затих, все забились, кто куда мог, в любые щели. Раненые заметались, кто еще мог держаться на ногах, пытался выбраться из больницы. Персонал стал тащить штатскую одежду, чтобы скорее переодеть военнослужащих, в первую очередь командиров. Некоторых спрятали среди психических больных. Таким путем, части раненых удалось избежать немецкого плена, других же, более обессиленных с тяжелыми ранениями, ждала горькая участь.

В больницу начали заглядывать немцы и раньше всего их интересовали раненые бойцы и командиры. Однажды два молодых немецких врача потребовали

показать им психиатрические отделения. Поведение их ошеломило. С грубым хохотом они разглядывали больных, тыкали в них пальцами и бросили фразу, смысл которой не сразу был понят: «С такими как вы, мы у себя уже давно навели порядок». Не сразу, преодолевая страх, я решилась выйти из больницы.

Город имел устрашающий вид, он стал слишком просторен, стали видны незаполненные домами дальние улицы, вернее, не видны, а скорее угадывались, где они еще недавно были. Среди сваленных, еще дымящихся развалин, на некотором расстоянии друг от друга высились кирпичные печи с высокими трубами. Они оказались устойчивее домов. Бросались в глаза развешенные, где только можно объявления: «Минск сожгли жиды и коммунисты!». Было также множество приказов, неизменно заканчивающихся одним припевом: «За невыполнение — расстрел!». Наш дом уцелел, большой и ранее многолюдный, он опустел. Часть жильцов убежала из города, оставшиеся, боялись в нем ночевать и только немногие решались оставаться в нем на ночь. Прибегая из больницы, весь вечер и ночь я проводила одна в пустой квартире, заперев на ключ комнату изнутри. Кутаясь от внутреннего озноба в одеяло, с прильнувшей ко мне Мурлинькой, с тревогой прислушивалась к каждому постороннему звуку. В соседней квартире находились мои родственники. В ней жили две семьи: одна, как я уже писала, успела уйти, бросив все свое имущество на произвол судьбы, другая, где была немощная болезненная моя тетя Ханна, не смогла это сделать. С ней остались ее муж, младшая сестра тетя Роза и дочь Сарра со своей четырехлетней девчушкой Виточкой. На работе нас подкармливали, давали похлебку и ломоть хлеба. Хлеб я приносила Вите, — ребенка нечем было кормить. Несколько крошек в кармане сохраняла для Мурлиньки, которая бросалась ко мне с какой-то незверушечьей радостью и не отходила от меня. Наконец, появилась неизвестно откуда взявшаяся вздувшаяся Соня, которую я сразу пристроила санитаркой в больнице.

Из психиатрической колонии привезли на подводе мою маму, и я вновь поместила ее в отделение, где сама работала, среди психически больных — здесь она не голодала. На фоне общей душевной подавленности не унывала одна Соня. Среди немецких солдат было немало красивых парней, знакомство с ними заранее волновало ее. Ни разу не вспомнила она своего погибшего ребенка.

## Создание гетто

Немцы занялись наведением порядка в городе, и, насколько мне известно, одними из первых организованных ими учреждений были городская управа и солдатский публичный дом. Наконец, впрочем, пожалуй, раньше всего они уделили внимание тем, кто повинен во всех несчастьях на земле и, кроме того, сожгли Минск. Отныне и навеки мы должны были отличаться от других людей. Дабы не было недоразумений и каждый знал, кто есть кто, мы обязаны были носить на груди и спине клеймо своей подлой расы — желтые латы. За невыполнение приказа — расстрел. За попытку спрятать у себя еврея или его отродье — расстрел. За пользование транспортом — расстрел. Вот так! Мы, немцы, люди серьезные и шутить с собой не позволим. До первого августа 1941 года клейменные обязаны

были переселиться в гетто — район города, огороженный колючей проволокой, без права нос высовывать за эту проволоку, а имущество перетащить на своей спине.

Поселяюсь с моими родственниками в деревянном двухэтажном доме, скорее, впрочем, бараке, чем доме, на 2-м Опанском переулке. В квартиру из трех комнат на первом этаже, помимо нас — меня, тети Розы, тети Ханны, ее мужа, дочери и внучки — вселились еще несколько семейств. Одна семья состояла из молодой еще женщины Маши, ее прехорошенькой белокурой дочери Рахили, студентки института иностранных языков, и сынишки Юзика, мальчика 9—10 лет. Вторую семью представляла, оказавшаяся через некоторое время беременной, Лиза (она ухитрилась забеременеть буквально в ночь начала войны), и ее девочка Томочка, лет 6—8. Обе женщины были без мужей. Не помню, куда запропастился муж Маши, а мужем Лизы был, кажется, военнослужащий. С нами поселилась также соседка по старой квартире Ханна Пурт с мужем и мальчиком в возрасте Виточки. Вскоре к нам присоединилась наша общая с Саррой подруга Нюра. Она, как и Сарра, была юристом, и обе до войны работали следователями.

Я не знаю еще двух жильцов, поселившихся не в комнатах, где не было им места, а в крошечном коридорчике, примыкающем к кухне, где стоял старый поломанный, насквозь продырявленный диван, брошенный старыми жильцами. Этот диван заняла молоденькая женщина Годл со своим двухлетним малышом Феликсом. Она бежала из Западной Белоруссии, когда туда вошли немцы, бежала, в чем стояла, не успев взять ничего, кроме нескольких рубашечек для ребенка, накинув шерстяной платок на плечи. Бежала без оглядки, пешком, прижимая к груди свое единственное достояние — ребенка. Убежать не смогла — они настигли ее в Минске. Как сейчас, стоит она перед моими глазами, худенькая, изнуренная, с двумя длинными разлетевшимися каштановыми косами, очень одинокая, в чужом городе, среди чужих незнакомых людей с малышом на руках и без куска хлеба.

Несколько слов о Сарре, двоюродной моей сестре. Мы были погодками, подругами, учились в одном классе, она стала юристом, я — врачом. Муж Сарры, Виктор Гуреев был также юристом, но военным, и в первый же день войны его немедленно отозвали в часть. Он ушел, не успев проститься с семьей, и не подозревая еще, что никогда уже не увидит жены и дочери. Сарра осталась с четырехлетним ребенком на руках, со старыми, беспомощными растерявшимися родителями и с не менее беспомощной тетей Розой. Жизнерадостным, веселым резвым существом была маленькая Вита, своими голубыми глазами и златокудрой головкой удивительно похожая на отца. Виктор на войне уцелел, приехал в Минск узнать о судьбе своей семьи, нашел моего брата и узнал о ее гибели. Не пожелав услышать подробностей, он избежал встречи со мной и уехал.

Еще до того, как мы поселились за проволокой, немцы уже грабили нас. Грабеж имел не только материальный, но можно сказать, и интеллектуальный характер. Какой-то немецкий офицер, бесцеремонно обшаривший весь дом и увидев у тети Ханны собрание сочинений Гейне на немецком языке, которое она очень берегла, без лишних слов уволок его. Неизвестно для чего, то ли чтобы уничтожить крамольную литературу, то ли с целью тайком прочесть ее.

В силу свойственной мне сентиментальности и любви к домашним животным, привитой мне с детства, когда кошка и собачка были в нашем доме членами семьи, я, уходя в гетто, упрашивала Соню пожалеть Мурлиньку, не выбрасывать ее вон. Я просила и вместе с тем знала, что просьба моя жалкая и бессмысленная — Соня откровенно хохотала мне в лицо. Я оставила Соне нашу комнату, свое имущество и не только свое — я убедила тетю Ханну доверить ей свое скромное достояние, а также имущество семьи моего дяди, успевшей уйти из города. Мне почему-то казалось, что Соня, прожив со мною и мамой несколько лет, сделалась в какой-то мере, близким нам человеком, что она не сможет предать в великой, постигшей нас беде. Прошло не так уж много времени, чтобы убедиться в обратном.

Мы ушли в гетто, взяв с собою только самое необходимое, что надеть на себя, и что можно было на скорую руку обменять на хлеб насущный. Теперь наше состояние зависело только от обмена, от обмена через проволоку, который начался сразу же после создания гетто. Наш дом стоял у самой границы гетто с «русским районом», и по обе стороны проволоки происходил товарный обмен, если только поблизости не было немцев или полицейских. При их появлении все бросались врассыпную и нередко случалось, что запоздавших настигала кара на месте. Менялось все, что только можно было с себя снять — на котелок картошки, буханку хлеба или горсть муки. Сберечь хоть что-нибудь, имеющее маломальскую ценность, было очень нелегко — нас постоянно грабили. Грабили открыто, без камуфляжа, грабили все, кому не лень. В первую очередь полицейские, затем солдаты из любых частей, эсэсовских, не эсэсовских, сухопутных, воздушных и всяких прочих. Офицеры также не брезговали этим делом. Только руку приложи и не ленись. Когда в дом врывались грабители, а случалось это ночью и среди бела дня, все замирали. Сопротивляться не смели, ого, попробуй хоть пикни, с тобою можно расправиться как душе угодно, нет тебе ни защиты, ни закона. Почему, собственно, не пристрелить какую-нибудь не приглянувшуюся еврейскую физиономию? «Может быть, ты еще каким-нибудь начальником был, и я у тебя в приемной ожидал? Теперь получай сполна, что хочу, то и делаю, и нет надо мною суда ни человеческого, ни божьего. Что ты лепечешь, маленькие детки у тебя? Не беспокойся, с детками будет то же самое, что и с тобой, об этом сам фюрер позаботится».

## Работа в городской больнице

После ухода в гетто, я в течение еще двух недель пользовалась правом выхода за проволоку. Доктор Афонский, на том основании, что в больнице не хватает врачей, добился для меня аусвайса (удостоверения) на этот срок. Продлить его он уже не смог. В больнице остались только раненые, за которыми ухаживали, и психически больные — девать их было некуда. Немцы в скором времени решили этот вопрос без больших затруднений. Но мы этого еще не подозревали.

Раненым делали перевязки, утешали их, как могли, хоть сами в не меньшей мере нуждались в утешении. Все были крайне удручены. Немецкое радио без передышки вопило о победоносном шествии фашистских орд. Помню разговор шепотом с одним раненым командиром. Он сказал мне: «Их надо хоть на какое-

то время задержать. Теперь самое важное — где-либо их приостановить. Пусть ненадолго, только бы приостановить, и тогда они с нами не справятся». Он в это верил и среди общей растерянности, влил каплю надежды в мою душу. Поэтому я запомнила его навсегда. Надеюсь также, что ему удалось избежать немецкого плена. Еще на моих глазах рана его заживала, и он незаметно исчез из больницы. Самое первое время это еще удавалось, т.к. немцы, упоенные военными успехами, не сразу взяли всех раненых на учет. В последующем это сделалось невозможным.

Удивительное впечатление производили немецкие врачи. Я уже упоминала двух молодых дураков, забавлявшихся видом душевнобольных. Однажды больницу посетил весьма солидный с виду врач, немолодой, в чине, назвавший себя профессором. Был он в эсэсовской форме. Вызвав Афонского и собрав других врачей, стал расспрашивать его о составе и количестве больных, интересуясь в первую очередь психически больными. Меня же больше всего поразили его поза и манеры. Став посреди комнаты, широко расставив ноги, он подбоченился и выпятил вперед толстый живот. Ни на кого не глядел, а если случайно бросал взгляд, то смотрел как сквозь стекло. Потом я уже догадалась, что манеры эти были признаком хорошего тона, — у фашистов, конечно.

В другой больнице, как мне рассказали, немецкий врач с размаха, со всей силой ударил по ноге сапогом молодую медсестру, случайно во время обхода, оказавшуюся впереди него. Еще одно доказательство превосходства собственной культуры. С неописуемой душевной мукой подходила я к постели своей несчастной матери, не понимавшей, что происходит. Она упрашивала забрать ее домой, не зная, что никакого дома у меня уже нет. Когда кончился срок моего аусвайса, я прощаясь с нею, надеялась, что как-нибудь, когда-нибудь смогу пробраться повидать ее. Я не думала, что это будет прощанье навеки, не хотела так думать, — душа человеческая и в самой большой беде выискивает утешенье. Я видела ее в последний раз, в скором времени ее ждала беспощадная расправа.

Находясь в гетто, я постоянно думала о маме и надеялась, что санитарки, с которыми я работала несколько лет, позаботятся о ней, а возможно, и Соня пожалеет. Не помню, каким уже образом меня известили, что нужно срочно маму из больницы забрать. Я растерялась — мне некуда было ее забирать. Да и каким способом? Ее, парализованную, отяжелевшую, я не в состоянии была даже посадить на койке. Звала на помощь своих теток или мы это делали с Соней вдвоем. Но, предчувствуя большую беду, я сорвала с себя желтые латы и ринулась через колючую проволоку в город, не думая, чем это грозит для меня.

Был осенний холодный день с пронизывающим, пробирающим все тело ветром. Обливаясь липким потом я добежала беспрепятственно до ворот больницы. На улице стояли большие крытые немецкие машины. Дальше проходной будки меня не пустили, вахтеры загородили дорогу и сказали, что главврач распорядился в больницу никого не впускать. Они знали меня, и одного из них я упросила пойти к Афонскому, вызвать его ко мне. Вахтер вернулся с приказом Афонского: мне следует немедленно уйти. Безуспешными были также мои попытки вызвать кого-либо из моих прежних товарищей по работе. Никто не шел, и я поняла, что

происходит что-то чудовищное. Сам воздух вокруг больницы был насыщен тревогой. Не знаю, сколько еще времени я бесцельно топталась у ворот, пока не вняв уговорам вахтеров, обессиленная поплелась назад. Вернуться в гетто мне удалось без осложнений, меня никто не задержал. Когда я зашла в дом, меня ни о чем не спросили, но ко мне, плачущей, свалившейся на кровать без сил, безмолвно подошла тетя Ханна, и, как ребенку, поднесла тарелку с похлебкой и ломтик хлеба. По тем временам это было царским угощением и единственным угощением, которое она могла мне дать. Потом я узнала, что всех больных вывезли в тот день из больницы и уничтожили.

Долго я таила обиду на Афонского, но потом поняла, что иначе он поступить не мог. Мне хочется сказать о нем несколько слов: настоящий русский интеллигент, образованный врач, он был очень невротичен, подвержен колебаниям, сомнениям, но в трудные страшные минуты постигшей нас всех катастрофы оказался на высоте положения. Как я уже говорила, среди общей растерянности и дезорганизованности в первые дни войны он взял на себя заботу о больных и больнице. Немецкие власти отнеслись к нему на первых порах снисходительно, — он не был коммунистом и, кроме того, неожиданно для всех, у него в родстве оказалось видное православное духовенство. Он сам был сыном священника. Одновременно положение его оказалось трагичным — от своей жены, еврейки, он отказаться не пожелал. На что только он не шел, чтобы спасти ее. Он дал согласие на ее стерилизацию, что было откровенным издевательством над немолодой женщиной, с которой, прожив много лет, он не имел детей. Он уехал с нею из Минска в г. Гродно, надеясь, что там ему удастся скрыть ее происхождение. Фашисты, между тем, не позабыли его жены. Незадолго до своего позорного бегства из Белоруссии ее бросили в тюрьму и расстреляли. Сергей Михайлович покончил жизнь самоубийством. Относительно недавно я узнала, что попытка самоубийства была неудачной. Он еще живым попал в лапы гестапо, где его замучили. Это был высоконравственный человек и превосходный врач невропатолог.

## Жизнь в гетто

Я снова за проволокой, уже без права выхода за нее. Как в заколдованном круге, моя жизнь теперь очерчена пределами гетто. Гетто — это большой человеческий котел, бурлящий страданьем, муками голода, страхом насильственной смерти, ненавистью, свалившейся на землю прямо из ада. Но одни ли грешники в нем?

Для выполнения своих распоряжений фашисты в городе организовали управу, а в гетто — юденрат, при нем биржу труда для набора рабочей силы, которая могла еще быть использованной. Рабочих по утрам выводили колоннами из гетто в различные немецкие организации и конвоировали их немцы из этих же организаций. Набирались портные, сапожники, плотники, слесари и т.п. Непригодный же элемент оставался в гетто.

Здесь были открыты две больницы, одна — для общих заболеваний, другая — инфекционная. Вскоре пришлось также открыть детский дом для осиротевших малышей и инвалидный дом для доходяг. Содержал эти учреждения юденрат, за

счет каких средств — не знаю, возможно, немцы, пока гетто существовало, кое-что давали на них. Я в больницы работать не пошла, какой-то тайный инстинкт предостерег меня от регистрации в юденрате, как врача. Специалистов там не регистрировали, не на пользу им, как выяснилось.

С еврейской интеллигенцией начали расправляться еще до организации гетто. В лагерь около Дроздов оккупанты после захвата города согнали всех мужчин призывного возраста, где евреев и не евреев содержали отдельно. Когда лагерь распустили, евреев разделили на две группы. Группу из лиц, занимавшихся физическим трудом, не тронули, а тех, кто имел глупость признаться, что относятся к категории работников умственного труда, расстреляли. Было расстреляно свыше 3000 человек.

И так, я оказалась в гетто безликим лицом, и как врача очень узкой профессии, меня знали немногие. Особым вниманием у немцев начал пользоваться известный в городе терапевт профессор Ситерман. За ним регулярно приходили гестаповцы и заставляли чистить отхожие места. В то время, о чем бы он ни говорил, неизменно заканчивал разговор словами: «Когда я был человеком!»[1] ... Когда же с ним надоело возиться и человеческое его «я» было полностью растоптано, с ним расправились. Каким способом — никому не известно. По одним данным его расстреляли, по другим — он был утоплен в зловонной клоаке отхожего места.

Первые акции начались с охоты за молодыми сильными мужчинами, способными к сопротивлению. 16 августа, спустя две недели после организации гетто, ранним утром оно было окружено гестаповцами. Со злобными, бешеными криками, врываясь в дома, они угоняли всех попавшихся им на глаза мужчин, кроме детей, стариков. Из нашей квартиры увели молодого мужа Ханны Пурт, мужа тети Ханны не тронули — он был очень пожилым человеком. Помню, после облавы к нам прибежал наш знакомый, очень милый, еще молодой человек, и, захлебываясь от радости поведал, как перехитрил гестаповцев и укрылся от них. Его радость была преждевременной — спустя 10 дней облава повторилась и, на сей раз, перехитрить свою судьбу ему уже не удалось. Всех угнанных, а к ним еще присоединили женщин с плохо пришитыми «латами» — проявление неуважения к приказам района — вывезли за город и расстреляли.

Для начала пристрелили домашних животных, которых кое-кто прихватил с собой. Что не положено, то не положено… Вскоре в гетто не оказалось ни одной кошки и собаки. Развелись мыши, не без пользы в последующем для голодающих. Впрочем, много их не было, кормежки и для них не хватало и они также дохли с голода. Начались повсеместные насилия и убийства.

Моментами у меня возникало сомнение в собственном рассудке. Разве такое может быть в действительности, реальность ли это? Убийцы чаще всего появлялись ночью. В домах наглухо запирались двери, закрывались окна. Подумаешь, какая защита. Жалкие попытки самообороны. Это каралось с особой беспощадностью. Ворвавшиеся в дом мерзавцы расправлялись с беспомощными жертвами по собственному усмотрению, насиловали, ломали черепа, отрезали языки, выкалывали глаза и просто пристреливали. Абсолютная полнота власти и свобода действий — еще не карается, а поощряется! Так хотелось вечером забыться сном. Как

хотелось, сбросив с себя одежду, расслабить все тело, согревшись под одеялом. Но стало страшно раздеваться, а потом не только страшно, но вскоре и холодно.

Почти ничего у нас уже не осталось, что можно было снять с себя и обменять на хлеб и картошку. Нашей постоянной клиенткой по обмену через проволоку сделалась пожилая татарка. Она внушала доверие. Мы доверяли ей вещи, и она честно приносила продукты. Она жалела нас и, особенно, маленькую Виточку. Веселая резвая девчушка притихла. Она узнала страх. Страх с большой буквы, не тот, которым пугают детей в страшных сказках. Серый волк оказался настоящим. Вита поняла, как следует себя вести, и, когда «волки» врывались в квартиру, делалась белее бумаги, стиснув зубки, она не издавала ни малейшего звука. Когда же за ними захлопывалась дверь, она заходилась в мучительном, рвущемся из ее детского сердца, безысходном плаче.

Приближалась грозная зима 1941 г. и, соперничая с муками голода, постепенно надвигался сковывающий все тело леденящий холод. Все, что могло гореть, бросалось в печь. На дворе, где мы поселились, летом еще веселом и зеленом было много деревьев. Не двор, а просто сад. Ни одного дерева не осталось к зиме — все они были спилены. А потом уже с пней, чем-то похожих на обрубки рук и ног, обессилено пытались отколоть еще немного щепок. Полетели в огонь все заборы, как очумелые, набрасывались на любой обломок доски, но всего этого не надолго хватало. Стены нашей квартиры стали изнутри покрываться изморозью. Жилье согревалось теплом человеческих тел, тел изнуренных, грязных, немытых. Согревать воду для стирки белья сделалось недопустимой роскошью — хватило бы только щепок согреть воду для питья и насытить озябшее тело кипятком. Мыла взятого с собой, вскоре не стало. Зато появились вши, непонятно откуда взявшиеся, возможно, путем самозаражения. Это была армия, не знавшая поражения, численность которой возрастала с каждым днем. Микроубийцы пощады не знали, и было это страданием уже совсем особого рода. Я не знакома с религиозной литературой, но, если в описании мук, которым подвергают грешников в аду, опущена пытка вшами, то святые отцы церкви совершили очевидный промах. Невозможно описать, что испытывает истерзанное голодом и холодом человеческое тело, когда на него набрасываются вши и чувствуешь полную беспомощность перед этим лютым врагом. Оно, это тело, может дрожать от озноба и гореть огнем. Одновременно, пробирающий до мозга костей холод и непередаваемый никакими словами зуд, жжение от бесчисленных укусов. В аду до этого не додумались. Человек мог бы дьяволу кое-что в этом отношении подсказать. Если вначале мы пытались кое-как бороться с этим новым непредвиденным злом, то вскоре оказались бессильными перед грызущими, въедающимися в тело насекомыми.

Голод надвигался все сильнее и грознее. В бессонные от страха и голода ночи в голове моей стали возникать странные фантазии. Они были заполнены едой. Я отчетливо представляла себе различные блюда, которые знала и которых никогда не пробовала. Как изысканный гурман, я смаковала их вкус, с наслажденьем вдыхала их запах и с презреньем упрекала себя за упущенные в свое время возможности. Ведь могла же я в свое время поесть то или другое, а по глупости или легкомыслию этого не сделала. Подумать только, чего я лишила себя. Нет, не глупость

это, это преступленье, непростительное преступленье, за которое я сейчас наказана. Поделом мне. А, кажется, я еще и привередничала. А как следует варить щи, из чего готовить котлеты? Какое мясо вкуснее: вареное или жареное, с чем лучше его подавать, с какими приправами? Если бы можно было хоть самую малость вернуть из этого, бывшего тысячу лет назад прошлого, ну, хотя бы ломтик ржаного хлеба, которого хочется больше всего и который вкуснее всего, что только можно отведать. Вскоре у нас стали лакомством оладьи из картофельной шелухи. Не беда, если она была мороженой. Жарили их на чем придется, кажется, чаще всего на касторке. Любой жир — ценность. А вкуснятина какая!

Мы проели уже все, что захватили с собой, но самое ценное осталось в городе у Сони. Несмотря на обещанье, она ни разу ни подошла к проволоке у нашего барака, а ведь хорошо знала, где мы поселились, помогала же нам перебраться в гетто. Некоторое время мы еще надеялись на ее появление, и кое-кого из женщин за проволокой я просила вызвать ее. Напрасное ожидание. Я не смела поднять глаза на тетю Хану и остальных моих родных, которых поставила в такое бедственное положение. Тогда, испытывая судьбу, несколько раз днем, сбросив с себя желтое клеймо, я прорывалась к себе домой, но комната всегда оказывалась запертой. Тетя Хана не упрекала меня, но безмолвным укором стало осунувшееся, сделавшееся прозрачным личико Виты, для которой бабушка с мучительным стыдом иногда выпрашивала ломтик хлеба.

Однажды меня к проволоке вызвала соседка из нашего старого дома. Мои набеги домой не остались незамеченными соседями и меня решили предупредить. Ей стоило немалого труда, обходя несколько раз снаружи гетто, найти меня. Волнуясь, она заклинала меня больше не приходить. Во дворе у нас поселилось много полицейских, Соня с ними запанибрата, и, кроме того, гуляет с немцами, водит их в мою комнату. Можно не сомневаться, что она меня сразу предаст. Мне просто повезло, что я не заставала ее дома. И так, мои худшие опасения сбылись, мои родные по моей вине, и только по моей вине, обречены на голодную смерть. Не Соня их предала, предала я сама, так неразумно доверившись ей. Господи, что же делать? И я решилась. Другого выхода не было.

Ранним утром, чуть рассвело, нырнув под проволоку, я побежала домой. Дом мой находился недалеко от гетто, но бежала я, затаив дыханье, боясь постороннего взгляда, не решаясь глядеть по сторонам. Никем не задержанная, ринулась по лестнице вверх на третий этаж. Вбежала в квартиру, наружная дверь которой из-за многочисленных жильцов никогда не закрывалась и, наконец, я у своей комнаты. Решительно стучу. Заспанный голос Сони: «Кто там?». Не отвечая, стучу еще сильнее. Она открывает дверь, заспанная, всклокоченная, только вскочившая с постели. При виде меня ахает от изумления и как-то теряется. В комнате, к счастью, никого кроме нее нет. Не вступая с Соней в объяснения, с лихорадочной быстротой я выхватываю из шкафа носильные вещи: платья, пальто, два зимних мужских пальто и меховое пальто жены моего брата. И с ужасом убеждаюсь, что всего мне не унести. И здесь Соня предлагает свои услуги. Мне ничего не остается, как согласиться. Что-то складываю и беру на руки, остальное хватает Соня, и мы уже вдвоем мчимся по направлению к гетто. Она немного опередила меня, и когда мы

почти вплотную подбежали к проволоке, вдруг я к своему ужасу вижу, что Соня меняет направление и бежит назад. На мгновенье я оцепенела, затем бросилась за нею следом, пытаясь ее догнать. Вначале я окликнула ее: «Соня, куда ты?», но она бежала все быстрее и быстрее. Расстояние между нами увеличивалось, она с хохотом на меня оглядывается. И здесь, позабыв об опасности, я уже в голос кричу и плачу: «Соня, что ты делаешь. Соня, пожалей нас, мы с голоду умираем». Немногие прохожие с удивлением останавливаются и глядят на меня. Пробежав еще немного и безнадежно отстав от нее с непосильной для меня ношей на руках и, падая с ног, я вновь пробираюсь через проволоку уже назад в гетто.

По сей день не понимаю, как меня тогда, у проволоки не схватили. Мне положен был расстрел. На мое счастье вблизи не оказалось полицейских, постоянно охраняющих гетто. Почему-то их в это время на данном участке не оказалось. Когда мы рассмотрели принесенные вещи, обнаружилось, что Соня оказалась сметливее меня и выхватила самое ценное и более новое, оставив мне старье. А я даже не успела сообразить, что взяла в свои руки. Тетя безмолвствовала, Сарра радовалась, что я живой вернулась назад, а мне хотелось умереть. Неправда, мне хотелось жить. Принесенные вещи еще на некоторое время обеспечили нам пропитание. Увы, не надолго.

Вскоре по распоряжению немецких властей были спороты все меховые воротники. Велено было сдать для победоносной немецкой армии меха во всех их видах. Посмей только выглянуть в пальто хоть с тоненькой полоской меха, или укрыть его. Само собой разумеется за нарушение приказа — расстрел. Теперь мы выползали на улицу в ободранных, каких-то нищенских пальто с торчащей из них голой шеей. Все же мы надули своих господ — тетя Ханна ухитрилась на Виточкину шубку нашить какую-то облезлую ткань и девочка ходила в мехах, обманывая тем честный немецкий народ. Комнаты, промерзшие изнутри, стали напоминать склеп не для мертвых, конечно, а для еще живых. Дни делались все короче, ночи — длиннее. Ночью — мрак. Электрические провода обрезаны. Нам не положено пользоваться электрическим светом, также как водопроводом и канализацией. Иногда делаем из чего-то коптилку. Это роскошь и ее берегут для особых случаев. Ползаем впотьмах, хватаемся за разные предметы на ощупь, как слепые, боясь ночи и страшась наступающего дня. И слухи, слухи, которые кто-то приносит из иного мира по ту сторону проволоки, и жадно ловим их. Что слышно на фронтах, не наступил ли уже час возмездия для убийц? Минуты отчаяния сменяются вспышками надежды, мгновениями почти религиозной веры в чудо. Но чуда нет, и опять отчаяние терзает душу.

Новая власть издает в городе газеты на русском языке. Нам запрещено читать их, также любые книги, журналы, все, что печатается — не положено в гетто иметь. За невыполнение приказа — расстрел. Но не нужны нам эти газеты, изредка все же приносимые тайком, в них ничего нет, кроме угроз и гнусной фашистской похвальбы. Кто-то даже слушал радио, наше, советское. Разумеется, не в гетто, не сам слушал, а услышал от кого-то слушавшего. Впрочем, тот тоже не слушал, просто кто-то кому-то передал, что где-то слушали. Говорят, какие-то молодые мужчины убежали из гетто, что где-то есть партизанские отряды — очаги совет-

ской власти на нашей земле. Где они и что делают? Все это слухи, слухи, слухи! Иногда были вечера, когда, ища забвенья, впотьмах, мы, сбиваясь в тесный кружок, слушали пение Рахили — студенточки, жившей с нами со своей матерью Машей и братишкой Юзиком. У нее был небогатый, мелодичный голос и пела она очень музыкально. Рахиль знала множество романсов, в том числе немецких, кажется, даже Рихарда Штрауса, исполняла их превосходно. И было какое-то очарование в ее мелодичном в полголоса пении, которое уносило нас в какой-то иной, волшебный мир. Мир для человеков. Мир, в котором были музыка и поэзия, но столь же призрачный, как и мечты о жизни. Рахиль была красивой белокурой девушкой, не имевшей в своей внешности семитских черт. Бывшая студентка института иностранных языков, она свободно владела немецким языком. К ней неоднократно пробиралась через проволоку ее подружка, звали ее, если память меня не подводит, Тоней. Иногда она даже оставалась ночевать у нас, что требовало немалого мужества, и было столь же благородно, как и неблагоразумно. Девочка зря рисковала головой. Все же Тоня спасла Рахиль и однажды увела ее с собой, каким-то образом раздобыв для нее фиктивные документы. С тех пор Рахиль мы более не видели, она не рисковала проникнуть в гетто, но все же удалось однажды с ней встретиться. Уже после войны.

Когда гетто организовалось, начальником его был назначен гестаповец, по национальности русский, из белоэмигрантов, как говорили, сын бывшего украинского помещика. Звали его Алексей Городецкий. Это был красивый рослый парень. Почувствовал себя хозяином этой большой бойни, он чинил расправу по собственному усмотрению, но не без выгоды для себя. Врываясь в дома, грабил, избивал, а при случае и убивал. Наконец, и мы удостоились его посещения. Ворвавшись в квартиру с яростным криком и нацеленным на нас револьвером, он всех обитателей ее выстроил в ряд. Всматриваясь в лица, потребовал золота и драгоценностей, которых, к слову сказать, в нашей семье и до войны в помине не было. Не дождавшись ответа, он злобно всех озирал, и, наконец, задержал свой взгляд на моей отчетливо еврейской физиономии, самой типичной из всех. Жестом подозвал меня, поставил перед собой и плотно прижал курок пистолета к моему затылку. Кажется, до сих пор помню это ощущение холодного металла на затылке. Я стояла неподвижно, обреченно ожидая конца, который, скорее всего, наступил бы, ели бы не одна неожиданность. Внезапно в комнату вошел какой-то офицер, не в гестаповской форме, в армейской. Не знаю, что привлекло его в дом. Внезапно он обратил внимание на испуганно суетившихся возле подъезда женщин. Увидев представшую перед его глазами картину, он стал очень резко что-то говорить Городецкому. Тот, отвечая, отвернулся от меня и опустил руку с взведенным револьвером. Воспользовавшись этим, я за его спиной проскользнула в дверь и выбежала во двор. Притаилась за углом, наблюдала. Вокруг бегали испуганные жильцы дома. Вскоре из дома вышел офицер, а следом за ним Городецкий, не тронув никого в квартире. Ему явно на сей раз помешали. Тем не менее, наш дом без своего внимания он не оставил.

Через некоторое время он опять появился, но уже не у нас, а в соседней квартире. Видимо сообразил, что с наших заморышей ничего не возьмешь. В соседней

квартире поселились с матерью две молодые женщины Соня и Бася Кантарович, балерины нашего минского театра оперы и балета. Увидев двух изящных женщин, он оценил их с первого взгляда и взял с ними весьма галантный светский тон. Не обидев их ни единым грубым словом или жестом, он согнал в квартиру других обитательниц дома, жалких и потрепанных. Выстроив их в ряд, начал с угрозами вымогать ценности, размахивая оружием. Одновременно оборачивался к Соне и Басе и любезно улыбался, словно предлагая им быть зрителями разыгрываемого каннибальского спектакля. Спектакль получился на славу и, как положено хорошему спектаклю, вызвал у зрительниц соответствующие эмоции.

Городецкий в гетто долго не удержался. Гестапо, видимо, пронюхало, что он награбил ценности не в пользу рейха, а в свою собственную, что их, конечно, не устраивало. На этом закончилась его отнюдь не блистательная, но, поблескивающая золотом, карьера в гетто. Последующие хозяева гетто были еще уродливее, злобнее, страшнее и вовсе не склонные к шуткам, хотя бы каннибальским.

С нашими соседками Соней и Басей мы вскоре подружились. Милые, очень интеллигентные женщины, они смотрели за своей растерявшейся матерью, как за малым ребенком. Существовали они также за счет обмена сохранившихся вещей, голодали как все, но смогли сохранить и в этих условиях свой человеческий облик. Не срывались, не кричали и внешне выглядели иначе, чем другие. Как трудно приходилось именно интеллигентам, как не просто было им приспособиться, и насколько легче включились в новый звериный быт люди, весьма далекие от интеллигентности. Эти быстрее научились изворачиваться и оказались значительно активнее и ловчее в борьбе за существование. Началось повсеместное огрубение и одичание нравов. Выше стало цениться умение раздобыть пропитание любыми способами и умение укрыться от немцев.

## «Малины». «Немецкие» евреи в зондергетто

После первых немецких облав, налетов, а затем начавшихся «акций» (погромов), ища спасенья, люди стали создавать тайники, названные «малинами» на блатном жаргоне. Были примитивные «малины» и очень непростые, хитроумно придуманные, требовавшие много сил и средств. Чаще всего в комнатах, если они были на первом этаже или в одноэтажных домиках, делали подобие погребов. Из досок пола выпиливалась крышка, через образовавшееся отверстие можно было на животе заползти в подвал, если был высокий фундамент, или же выкапывалась яма, в которую могли залезть скрючившись, несколько человек. Искусство состояло в умении так вырезать доски в полу и так сбить крышку, чтобы снаружи это не было заметно. Крышка должна была плотно прилегать к полу. Извлекать ее было нелегко, но с внутренней стороны к ней прибивали ручку.

Другой не менее популярный тип «малины» строился иным способом. Создавалась замаскированная комната, дверь, ведущая в нее из другой комнаты, плотно заклеивалась обоями, конечно, теми же, что и на стенах комнаты. В нижней части двери прорубали лаз, небольшой, чтобы пролезть можно было на животе. Лаз прикрывался плотно пристающей к нему дверью, которая оклеенная обоями,

не должна была быть заметной снаружи. К двери приставляли койку, лаз находился под ней. Еще лучше, если к двери приставляли шкаф или буфет, задняя стенка которого в нижней части выпиливалась по размеру лаза, затем плотно приставлялась. Были более усовершенствованные тайники. В одном из них мне однажды удалось побывать во время неожиданной, среди бела дня тревоги. Я зашла в дом к одной не очень близкой знакомой, и когда на улице поднялся шум, она закрылась в нем, увлекая меня за собой. Тревога оказалась ложной, и через час мы выползли наружу. Ход в этот тайник шел через конфорку обыкновенной плиты на кухне. Конфорка была фиктивной, когда она снималась, под нею находился ход вниз с приставленной узкой лестницей. У основания лестницы начинался туннель, глубоко прорытый в земле под домом. В нем можно было двигаться во весь рост. В конце туннеля стоял небольшой столик и лавки по обе стороны. Туннель освещался коптилкой.

Гетто стало постепенно заполняться новыми людьми — евреями, успевшими убежать из других городов и поселков Белоруссии, где, не затрудняя себя организацией гетто, гестаповцы полностью уничтожали еврейское население. Очень немногим удалось спастись от «ликвидации» и приютить их могло только Минское гетто — последнее прибежище, где они могли укрыться. Надолго ли? Убежать от расправы смогла мать нашей общей с Саррой подруги Нюры. Перед войной она гостила у какого-то родственника в деревне и позже смогла попасть в гетто Минска, где уже находилась ее дочь. Вместе с Нюрой они ушли от нас и поселились у родственников в соседнем с нашим двухэтажном кирпичном доме, сыгравшем через некоторое время в моей жизни определенную роль.

В Минское гетто начали завозить евреев из европейских стран —Чехословакии, Австрии, Германии и т.д. Их всех мы именовали «немецкими» евреями — к слову сказать, все они говорили на немецком языке. Посреди нашего гетто создали для них специальное «зондергетто», отделенное от остального колючей проволокой. У них было создано свое самоуправление и своя «милиция» из немецких евреев. К слову сказать, для лучшего управления нами, немцы организовали и в нашем гетто, при бирже труда «милиционеров» из подонков, которых в гетто можно было набрать. Во главе их стоял, поставленный немцами, заведующий биржей труда Эпштейн, из польских евреев — предатель и прохиндей. Он беспрекословно выполнял все распоряжения гестапо, и его опасались не меньше, чем его хозяев. Доставленные в зондергетто «европейцы», общение с которыми запрещалось, сохранили внешний лоск: приезжали они с чемоданами как туристы, отправившиеся в дальнее путешествие. На работу их вывозили отдельно от нас, в других рабочих колоннах, уничтожали также отдельно от нас. После ряда «акций», остатки их были вывезены в лагеря смерти, где они закончили свое существование.

Положение их, в некотором отношении, было тяжелее нашего. Вырванные из привычных условий, попавшие в чужую страну с незнакомым языком, они были лишены возможности найти хоть какой-то контакт с местным населением. Если незначительная часть евреев смогла убежать из гетто и найти путь в партизанские отряды, для них эта возможность не существовала. Несмотря на проволоку, разделявшую оба гетто, жизнь все же сталкивала нас с ними, главным образом, на

различных участках работы. Это были люди не только с чужим языком, но с совершенно иной психологией, чуждыми нам привычками, обычаями. Между нами быстро возникла взаимная антипатия. К нам они отнеслись пренебрежительно, мы представляли для них «большевиков», кроме того, были хуже одеты и хуже смотрелись. Откровенное их высокомерие выглядело трагикомично при создавшихся обстоятельствах. А для нас они были «немцами», и мы их терпеть не могли. Долгое время они не понимали еще, что на равных разделят с нами общую судьбу. На фоне всего происходящего, радостью было общение с балеринами Соней и Басей. Они были культурны, тонки, начитаны и очень славные по характеру. Муж и сын Баси перед войной уехали на юг отдыхать, а Сонин муж, из местных немцев, сразу отказался от нее, и она не желала о нем говорить. С ними можно было вспомнить театральные постановки, поспорить о прочитанных книгах, и это было, как бы, возвращением в прежнюю свою человеческую жизнь, по которой тосковали, как изгнанные из рая Адам и Ева.

## Погром 7 ноября 1941 г. Неудачная попытка бегства

Приблизилось 7 ноября 1941 года. Накануне в гетто приехал Городецкий и вывез нужных ему рабочих и некоторых работников юденрата в лагерь по улице Широкой. Сделано это было втихаря. Последующие события привожу из рукописи Нюры (А.С. Мачиз)[2] : «Седьмого ноября на рассвете, в гетто стали въезжать большие закрытые черные машины. Гестаповцы, вооруженные нагайками, револьверами, ручными пулеметами, пьяные, с криком, свистом, бешеным хохотом врывались в дома, и, избивая, загоняли женщин, детей, стариков в крытые машины и везли в бараки в Тучинку. Всего за сутки было вывезено где-то 12—15 тысяч человек. Два дня их содержали в бараках. Стоны и крики детей, сваленных друг на друга, как навоз, томившихся без воды, разносились далеко по окрестностям. Затем они были вывезены и расстреляны из пулеметов возле заранее выкопанных могил. На этот раз погромом была охвачена часть улиц гетто: ул. Островского, Республиканская, Шевченко, Немига, Хлебная. После погрома часть опустевших улиц была включена в русский район». А теперь эти же события, как они запечатлелись в моей памяти.

Утро началось тревожное, в чем дело мы еще не знали. По двору сновали взад и вперед, с побелевшими от страха лицами, женщины. Мужчин почти не видно, их в гетто уже мало осталось, оставшихся вывозили на работу. Издали доносятся глухой шум, выстрелы, крики. Вскоре узнали, что часть гетто окружена, но возле нашей улицы гестаповцев и полицейских не видно. Пока еще не видно, а дальше? Нужно куда-то бежать, где зарыться до того, как нас окружат, а тогда уже выхода не будет. Забегаем в соседний дом, где живут теперь Нюра с матерью. Там большой чердак, во всю длину дома, а по сторонам его, под крышей, из досок сооружено что-то вроде антресолей. Залезаем туда и набрасываем на себя, какое-то валявшееся там грязное тряпье. Лежим, не смея шевельнуться, мучительно вслушиваясь в каждый шорох и звук в доме, на улице. Очень холодно, коченеют руки и ноги. Часы идут. Вдруг доносится из города колокольный звон. Звонят во многих

церквях. Сегодня, кажется, воскресенье. Темнеет. День идет к концу. На улице тихо. Осторожно вылезаем из нашего укрытия. Акция, на сей раз, нашу улицу обошла. А что нас ждет завтра, что сулит следующий день?

После ужасной бессонной ночи наутро 8 ноября я принимаю решение — бежать из гетто. Тетя Ханна поручает мне взять с собою Сарру и Виту. Сарра в такой глубокой растерянности, что готова за мною безвольно следовать куда угодно. Принимаем решение: недалеко от гетто живет пожилая татарка с мужем — наша постоянная клиентка. Она очень человечно к нам относилась и сообщила свой адрес. Попытаемся упросить ее спрятать Сарру с ребенком. Это не так уж опасно — Сарра на еврейку не похожа. Она высокая, белокурая, голубоглазая, с вздернутым носиком, а о ребенке и речи нет. Вита — вылитый отец. Что же касается меня, то я пойду, куда глаза глядят. Беру с собой старый портфель, куда положила единственную оставшуюся у меня ценность — большие мужские часы с именной надписью, врученные мне директором медицинского института при его окончании, как отличнице учебы. Сарре же тетя Ханна вручает отрез какой-то материи, чтобы отблагодарила татарку, если она оставит ее у себя. Сняв с себя желтые латы, осторожно, с оглядкой, раздвинув колючую проволоку, вылезаем за пределы гетто. Не без труда находим дом татарки. Она открывает нам дверь, и в ужасе отшатывается. Выбегает ее не менее испуганный муж. В дом нас не пускают, и весь разговор происходит на пороге. Они оба твердят, чтобы мы поскорее ушли, но татарка соглашается на пару дней оставить у себя Виту. Сарра колеблется, и все же не решается оставить малышку, испуганно вцепившуюся в мать обеими ручонками. Муж татарки советует нам спрятаться на татарском кладбище, где в сторожке живет его приятель, называет имя приятеля. Мы не знаем, что делать, куда идти, и нам ничего не остается, как следовать совету старого татарина.

Мы опять бредем, почти наугад, только приблизительно зная нужное нам направление. Никогда раньше мы не были на татарском кладбище и, вообще, весь этот район не был нам знаком. Наконец выходим за черту города, перед нами расстилается серое, вспаханное на зиму поле и где-то, в противоположном его конце виднеются памятники с изображениями полумесяца на верхушках. Медленно-медленно двигаемся в этом направлении, напрямик пересекаем поле. Хлещет холодный дождь со снегом. Ноги увязают в рыхлой, покрытой липкой грязью земле. Очень скользко. Виточка устала, и не в состоянии уже передвигать маленькие свои ножки. Мы с Саррой не идем, а просто волочим ее за ручки с двух сторон. Она падает, спотыкается. Перед самым кладбищем непредвиденное препятствие — довольно глубокий ров с мутной грязной от дождя водой на дне. Преодолеваем его и по пересекающей наискось кладбище тропинке приближаемся к деревянному, барачного типа дому у противоположного края кладбища. Дверь нам открывает старый татарин, и сразу набрасывается на нас с неописуемой злобностью. Гоня нас прочь, он пальцем тычет куда-то в сторону, где издали виднеется небольшой поселок и кричит: «Вон туда идите, там ваших всех собрали» и захлопывает дверь. Здесь я вспомнила, что возле татарского кладбища проживают местные немцы, и мы уже идем куда-то в сторону, поняв, что нам нужно поскорее выбраться из этого места.

Мы еще не миновали кладбища, как за нашей спиной раздался пронзительный свист, и ватага мальчишек — подростков окружила нас. С гиком и улюлюканьем, поколачивая хворостинами, они погнали нас в сторону поселка. Так как Сарра с Виточкой из-за ослабших ее ножек застревали, они больше усердствовали около нее, и, воспользовавшись этим, пригнувшись, я спряталась в кустах. Мальчишки не стали меня искать, и, удовольствовавшись своей добычей, угнали Сарру в поселок. Я вышла из кустов, когда они были уже далеко, и в глубоком отчаянии, не зная, что предпринять, заметалась взад и вперед.

Господи, господи, как спасти Сарру с ребенком, как вырвать ее из рук маленьких негодяев? У кого просить помощи? Неужели на свете людей совсем не осталось? В окне барака я заметила молодую девушку, видимо, наблюдавшую всю эту сцену. Бросившись к ней, я постучала в окно. Она сразу скрылась. Не зная, как быть, но, зная, что не могу, не смею уйти с этого места, горько плача, я металась возле дома, и вскоре, увидела несколько женщин с ведрами, идущих к колодцу. Колодец был вблизи от дома. Шли женщины со стороны поселка, и не думая о том, что они, скорее всего немки, я бросилась к ним. Сбивчиво рассказывая о том, что произошло, я упрашивала их, молила отбить Сарру с ребенком у мальчишек, пожалеть их, спасти. Набирая воду, они молча слушали меня. Слушали с замкнутыми лицами. Но не было злобности в их лицах. Наконец одна из них, молодая женщина, подняв голову, сказала мне: «Я их отобью и приведу вам, только ожидайте нас не здесь, а там», — и указала в сторону рва, откуда мы пришли. Я ринулась туда с бешено колотящимся сердцем. Прошло некоторое время, и я увидела приближающуюся ко мне со стороны поселка группку. Впереди шла женщина и вела под руки пошатывающуюся, с заплаканным лицом, Сарру, за ней девочка лет девяти—десяти, показавшаяся мне в этот момент маленьким ангелом, спустившимся с неба, почти несла на своих детских руках Виту. «А теперь — сказала женщина, — уходите отсюда как можно быстрее». Она ушла со своей дочерью, не слушая наших благодарностей, а мы с Саррой стали вновь переходить ров. Но не успели еще перебраться на противоположную его сторону, как нас одернул грубый окрик. Оглянувшись, мы увидели двух немецких офицеров в окружении мальчишек. Мальчишки ликовали: все же их взяла.

Стоявший впереди высокий смуглый офицер схватил палку, и, хлестая меня по спине, погнал все по той же извитой тропинке назад к бараку. Второй офицер, белокурый с полным лицом, идя следом, понукал Сарру с Виточкой, но не бил их. Когда нас пригнали к бараку, из него выскочил старый татарин и несколько женщин, в том числе, молоденькая татарка, которую я видела в окне. Все они затараторили, осыпая нас бранью, и особенно усердствовала девчонка. Размахивая руками, она визжала, что я угрожала ей, показывала кулаки, и чуть ли не хотела ее убить. Смуглый офицер, продолжая колотить меня палкой по спине, вырвал из рук мой старый портфельчик, решив, по-видимому, что в нем имеется нечто ценное, а выхваченный у Сарры сверток с отрезом, швырнул одной из женщин, которая жадно его подхватила. Как со мной поступить, у него сомнений, видимо, не было, но Саррина внешность вызвала у него некоторое недоумение. Он стал расспрашивать женщин, к какой, по их мнению, национальности она принадлежит. Женщи-

ны ответили уклончиво, что им трудно в этом разобраться, но ребенок, безусловно, не еврейский. Тогда, толкнув Сарру, он жестом указал ей, чтобы она убралась, и Сарра с Виточкой медленно поплелись в сторону того же злополучного рва. Теперь в центре внимания толпившихся вокруг людей осталась я одна. Без тени сочувствия они глядели, как пинал меня, извергая ругательства, офицер. Боковым полем зрения я заметила, что второй офицер держится в стороне, а не принимает во всем этом участия. Всласть избив меня, смуглый офицер объяснил, что сейчас окончательно расправится со мной. Только тогда женщины взволновались, хором завопили, и стали упрашивать его расстрелять меня подальше от их дома, так как им будет неприятно убирать мой труп. Офицер снизошел к их мольбе и, схватив палку, опять погнал меня вперед, но уже в сторону противоположную ото рва. Его товарищ плелся следом. Мы уже вышли за пределы кладбища, впереди расстилалась сельская дорога, по сторонам ее были деревья, кусты, и я думала, возле которого из них приму свою смерть. Страха не испытывала, но глодала душу тоска, тоска неописуемая, никакими словами не передаваемая, а в мыслях с молниеносной быстротой развертывалась вся пройденная жизнь, начиная с ранних детских лет.

Мысленно простилась и просила прощенья у умерших отца и матери, перед которыми во многом была виновата. Но что это? Ведут меня и ведут, злобная ругань стихает, и палка перестала гулять по моей спине. Я осторожно оглянулась и увидела, что мой истязатель спокойно разговаривает со своим товарищем, изредка покрикивая на меня. Мы приблизились к городу каким-то окружным путем, появляются первые дома, огороды, затем улицы. Навстречу шествует гестаповец в парадном черном мундире. Офицеры останавливают его, и, как я поняла, хотят сбыть меня с рук. Гестаповец расфранчен, куда-то спешит, и заняться моей персоной не пожелал. Кроме того, акция, проведенная 7 ноября, была закончена, а марать об меня руки — не было у него другой заботы. Не зная уже как избавиться от такой обузы, офицеры пошли в гетто, толкнули меня за проволоку, пояснив, что мне положен расстрел, и я его вполне заслужила.

Чуть живая я добралась до дома, надеясь увидеть Сарру с Виточкой. Квартира оказалась совершенно пустой, ни единой души в ней не было, ни моих родственников, ни других ее обитателей. По-видимому, все спрятались где-то. В изнеможении я свалилась на кровать, с тоской думая о Сарре и Вите, и что скажу тете Ханне, когда она появится. Но к счастью, еще до ее прихода, тихо приоткрылась входная дверь и вся какая-то согбенная с висевшей на ее руках Виточкой, в комнату вошла Сарра. Мы были так несчастны и измучены, что не смогли даже обняться. Она была уверена, что меня уже нет в живых. Когда они немного отошли от кладбища, Виточка вдруг заупрямилась, и не хотела дальше идти: «Мама, почему ты оставила Релю у немцев?». Детским своим умом она понимала, что я оставлена для расправы, и не хотела бросить меня в беде. А получилось так, что ее маленькая жизнь оборвалась через четыре месяца, а мне предстояло жить еще многие годы. По дороге в гетто, бредя с трудом, еле держась на ногах и волоча ребенка, Сарра никого не замечала, но какая-то женщина у калитки, где они прошли, вдруг бросилась в дом и вынесла Сарре ломоть хлеба. Сарра удивилась: «Откуда вы знае-

те… я ведь не похожа». И та ответила: «Вы, действительно, непохожи, но у наших нет таких измученных лиц».

Наступившие вскоре новые испытания не дали мне возможности длительно переживать происшедшее, но моя отведывавшая палку спина, на которой я долго не могла лежать, запомнила это событие дольше, чем моя голова.

20 ноября 1941 года «акция» повторилась, но и на этот раз она миновала наш район, расположенный у противоположного конца гетто. Не делая уже бесплодных попыток убежать или у кого-нибудь скрыться, мы снова прятались, и на этот раз, кажется, в квартире у Нюриных родственников, где сделали тайник из замаскированной буфетом комнаты. Долгое время мы ночевали там, боясь вернуться в свой дом. Спали прямо на полу, не сбрасывая с себя верхнюю одежду. С ужасом, ожидая рассвета, мы выглядывали из окон на улицу, где в любой момент могли появиться гестаповцы в полном боевом вооружении, в касках, с автоматами, как они шли всегда, не на фронт, а на уничтожение беззащитных. И снова прятались, и снова прятались.

## Продолжение ужасов. 1942 год

После 20 ноября я разыскала в гетто еще одну свою родственницу, сестру моей уже покойной матери, тетю Фаню. Я нашла ее в огромном, казарменного типа бараке, заполненного множеством голодных ожесточившихся людей. В спертом воздухе стояли непрерывные крики и ругань. Тетя моя, старая, страдающая тяжелым диабетом женщина, лежала поперек кровати. Хозяйка этой койки не разрешала ей улечься в длину. Ноги ее свисали на пол, и одна из них была поражена гангреной до колена. Гнившая и загнивающая рана не была даже прикрыта повязкой. Я стояла потрясенная ее видом и состоянием, когда на меня внезапно с неистовой бранью набросилась одна обитательница барака. Я не сразу узнала в ней свою бывшую школьную соученицу. Тогда она была девушкой уравновешенной, благожелательной и казалась старше остальных, т.к. воспитывалась в детском доме и лучше знала жизнь, чем папины и мамины доченьки. Была она также активной общественницей, очень разумной и держалась с нами как старшая с младшими — по сути такой и была. И вдруг — осатанелая фурия, у которой изо рта извергалась неистовая ругань. Меня кляли за бедственное положение моей тети, и чуть ли не за то, что я еще живу на свете. Вывалив на мою голову все, что накопилось у нее на душе, она угомонилась, утихла, даже слегка улыбнулась: «Кажется, мы с вами когда-то знали друг друга». Да, мы, действительно, знали друг друга, на другой планете, в другом измерении, времени и пространстве.

Тетя глядела на меня с мудрой всепрощающей улыбкой и молчала — лицо человека знающего, что умирает и с жизнью уже простившегося. Больше я никогда ее не видела.

Голодом встретил нас новый 1942 год. Не стало даже мороженной картофельной шелухи. Уже по несколько суток мы не принимали пищи. Стало трудно подниматься с постели. В стоячем положении появилось головокружение, обмирали руки и ноги, холодел, словно прихваченный морозом, нос. Безмолвно угасала на

глазах у всех молоденькая беженка с запада Годл со своим малышом. Как я уже упоминала, она прибежала в Минск, в чем стояла, и некоторое время, когда у нас еще кое-какая пища водилась, тетя Ханна, а также другие женщины в нашей квартире подкармливали их. Очень жалели ребенка, восхищались им. Малыш был превосходным. А затем, когда стало совсем плохо, Годл перестали замечать. Еще тетя Ханна наскребала какие-то ошметки, варила их, но ни разу не попросила Годл ложки варева для ребенка. Сутками сидела она на своем продырявленном диване, забившись в угол, прижимая к груди малыша. Кутала его в платок, укрывала своими длинными косами. На исхудавшем лице лихорадочно блестели ввалившиеся глаза. Молчала. Ребенка уже не спускала с рук. Веселый и подвижный, ранее забавно лепетавший на своем детском языке, он перестал говорить, затем разучился ходить, стал меньше. Дряблым сделалось тельце, на детском посеревшем лице кожа отвисла как у старика. Малыш перестал плакать, просить еды, только головка его беспомощно болталась на плече у матери. И все-таки умерли они не голодной смертью — немцы успели распорядиться.

Нам внезапно пришла помощь. Через выходящих за черту гетто рабочих Сарру разыскал друг ее мужа. Имени его не запомнила, а фамилия его была Иванов. С этими рабочими он стал посылать нам отрубленные конские головы. Не беда, что большей частью они были протухшие, но это была еда, и она оказалась нашим спасением. Какие необыкновенные блюда, как оказалось, можно изготовить из конских голов. Это кости, которые так вкусно обсасывать, не говоря уже о кусочках мяса, а мозг, который выскабливался из конских черепов. Наконец суп, благоуханный суп! Я сказала Сарре, чтобы она просила Иванова в записках, которые передавала ему, забрать Виточку из гетто. Ребенка спрятать было нетрудно. Мы знали случаи, когда друзья подобным образом спасали детей. Так, например, домработницей был спасен сын профессора Ситермана[3]. Сарра с горьким плачем твердила: «Я не могу, я не в силах с нею расстаться».

Ужас уже не покидал улицы гетто. По ночам, в полной тьме внезапно раздавались где-то вопли и выстрелы — окружен чей-то дом, где-то идет расправа, на следующую ночь — где-то еще. А утро, рассвет приносили другое. В первые утренние часы, в ожидании «акции» тревожно улавливается каждый подозрительный звук, фиксируется взглядом каждая фигура за окном. Сегодня, кажется, тихо, ничего не слышно, можно выйти из дома, и бледные серые тени испуганно озираясь, ползут по улицам гетто.

1 марта 1942 года умерла голодной смертью тетя Роза. Истощилась она раньше других. Беспредельно преданная семье тети Ханны — старшей своей сестры, она непрерывно бегала в поисках пропитания, главным образом для Виточки. Не щадя себя, тетя Роза быстро дошла до предела. В тот день, не в силах уже подняться с постели, с уже меркнувшим сознанием, она беззвучно что-то шептала, не понимая, что ей говорят. Скорбно у ее постели стояла тетя Ханна. В этом умиравшем существе живым оставалось только одно — желание есть. Краем смоченного полотенца я протирала ей лицо, спекшиеся сухие губы, и совала в рот кусочки сваренной конины. Поперхиваясь, она жадно заглатывала их. Потом уже не могла глотать, и с угасающим дневным светом тихо скончалась. Вечером к дому под-

катили дроги с кладбищенской бригадой, сваливавшей подобранные в гетто трупы, как дрова. Сволокли они и тело тети Розы, швырнули его в общую груду покойников и увезли. Никто не вышел из дому проводить ее, и никто не плакал. На это не было сил. Немыслимо труден был каждый сделанный шаг. Никто никогда не узнает, где покоится ее прах, как прах моей матери и других близких людей. Но умерла она своей смертью, тихо дождавшись ее приближения и, если действительно есть бог, то он пощадил ее.

## 2 марта 1942 года

Наступил угрюмый рассвет 2 марта 1942 года. С утра, казалось, было спокойно. Соседка на верхнем этаже выпекала хлеб, и чарующий его аромат разносился по всему дому. Бедная моя тетя Ханна, с низко опущенной головой, пошла к ней вымаливать кусочек хлеба для Витуси, и та ей отказала. Но этого хлеба не удалось вкусить не только бедной нашей девочке, но и ей самой. Внезапно на улице началась суматоха. Забегали, заметались люди, бросались из дома в дом, во двор и назад, опять во двор, опять в дом. Почти мгновенно гетто оказалось оцепленным полицией. Из рукописи А.С. Мачиз: «Второго марта 1942 года в гетто стали въезжать легковые машинами с работниками гестапо. Среди них совершенно пьяный оберштурмфюрер СС Шмидт. Рабочие в колоннах, как обычно, были отправлены на работу, а «гости» расселись на квартире заведующего биржей труда Эпштейна (об этом мерзавце я расскажу особо). Они принялись кутить, а вино и водка были доставлены на грузовой машине. Часть «гостей» поместилась на Юбилейной площади перед юденратом. Здесь для них были поставлены столы с угощением. К ним присоединился полицеймастер Рихтер. После пьянки и объедания палачи с нагайками, ручными пулеметами и револьверами начали врываться в дома, и выгонять всех на Шпалерную улицу во двор обойной фабрики. В двух домах по Технической улице жильцы спрятались в «малинах», и никого там не найдя, палачи подожгли эти дома, где живьем сгорели люди. Изгнанных из домов погнали к железной дороге, погрузили в вагоны и отправили в Дзержинск, где расстреляли. Было уничтожено пять тысяч человек. По возвращении колоны с работы, гестаповцы окружили колону из рабочих тюрьмы, освободив только бригадира Левина, в прошлом художника и детского писателя, писавшего под псевдонимом Берсарин. Он не уходил, и требовал освобождения остальных. Его били прикладами, гнали прочь, тогда с жестяной крышкой в руках он набросился на немцев, и тут же был расстрелян. Как объяснил потом Рихтер Эпштейну, рабочие из колонны забирались с целью увеличить число уничтоженных, т.к. гестаповцы поздно начали работу, не с утра, а в полдень, и им не хотелось возиться в домах до вечера, выискивая дополнительных жертв. Были уничтожены дом инвалидов, детский дом и часть работников юденрата. Страшное зрелище представляла колонна детей из детского дома, от самых маленьких до 13—14-летних. Нагайки со свистом опускались на детские головки, с кровоподтеками, вздувшимися от побоев лицами, голодных, оборванных. Если ребенок отставал, его здесь же на улице пристреливали. Вся дорога была усеяна детскими трупиками. Население гетто уменьшилось, и опять часть его территории отошла к «русскому» району».

На этот раз оказался оцепленным и наш район. Мгновенно двор опустел. Часть людей из квартиры исчезла. Безмолвно, бессловесно лежала Ханна Пурт со своим ребенком на кровати, а в коридорчике, как всегда, сжавшись в комок, прижимая к сердцу малыша, притаилась Годл, забившись в угол дивана. Неподвижно, с низко опущенной головой сидела тетя Ханна, словно ничего не замечая, готовясь в свой последний смертный путь. Беспомощно стоял возле нее ее муж, подчиняясь ее более твердой воле. Мы же с Саррой мечемся взад и вперед. Саррины руки, судорожно вцепившиеся в Виточку ни на мгновение не отпускают ее. Кто-то закричал, что на втором этаже имеется «малина» и, влекомые обезумевшими людьми, мы устремились наверх. Там, в чьей-то квартире, через лаз под койкой, прислоненной к заклеенной двери, мы пролезли в замаскированную комнату. Но как только там очутились, я поняла, что мы попали в ловушку.

Комната была забита женщинами с детьми. Все были возбуждены, суетились, а дети в голос плакали и кричали. Даже Виточка, наша умница Виточка, хорошо знавшая, впрочем, как и другие дети в гетто, что при словах: «немцы идут» нужно мгновенно затихнуть, даже она плакала навзрыд. Слишком насыщена ужасом и накалена была атмосфера. Приблизился топот тяжелых сапог, раздались злобные выкрики, грубый хохот. Вот они уже здесь, за стеной. Еще мгновение, раздаются удары топора, и отваливается разбитая топором дверь. В проеме ее появляются гестаповцы. Впереди стоит высокий гестаповец в черном кожаном пальто с плеткой в руках. Он хохочет широко раскрытой пастью, а другой, рядом с ним — с прищуренным глазом и сжатыми зубами. Ударами плетки высокий гестаповец изгоняет всех из комнаты, второй помогает ему. Никакими словами невозможно передать это неописуемое зрелище: сбившихся вместе вопящих, прижимающих к себе детей женщин, на которых сыпятся беспощадные удары. Особенно отчетливо вижу Машу, мать Рахили. Стоя посреди комнаты и простирая к небу руки, она скорбно кричала: «Доченька моя, я никогда уже больше тебя не увижу!», а Юзик, лежа у ее ног, спрятал заплаканное лицо в коленях матери.

Изгнанные ударами плетки я, Сарра с Виточкой бежим по лестнице вниз. Внизу, на первом этаже, гестаповцев не видно и мы забегаем не к себе, а в квартиру, где живут балерины. Одна из них, Соня, к этому времени уже где-то работала и ранним утром с рабочими колоннами ушла из гетто. Остались Бася с матерью. У них в комнате был вырыт тайник в виде ямы под полом, прикрытой крышкой. Крышка плотно прилегает к полу и задыхаясь, торопясь, ломая ногти мы втроем — я, Сарра и Бася пытаемся эту крышку поднять. Все усилия безуспешны — она не поддается нашим дрожащим пальцам. В комнату врывается гестаповец и плеткой опять выгоняет всех на двор.

Двор заполнен людьми, со всех сторон оцеплен полицией. Где-то издали в толпе мелькнула тетя Ханна. Как затравленный зверь, не останавливаясь ни на мгновение, я бегаю взад и вперед. Предельно обострившимся вниманием я фиксирую следующее: оцепление из полицейских в основном охраняет выходы со двора. Двор длинный и по длине его, помимо нашего дома, стоит второй двухэтажный дом, на чердаке которого мы прятались седьмого ноября. Согнанные гестаповцами люди находятся возле нашего дома и охраняют их только несколько по-

лицейских. Возле второго дома никого не видно. Правда, несколько гестаповцев выбежало из него по направлению к нашему дому. Догадываюсь, что оттуда всех выгнали раньше, и дом опустел. Там, по-видимому, «работа» уже закончена. Нужно во что бы то ни стало пробраться в этот дом. Делаю несколько рывков в том направлении, но мои попытки замечает стоящий вблизи полицейский и окриком останавливает меня: «Назад, гражданка, назад!». Но тон у него не повелительный, голос дрожит, лицо бледное, испуганное. Само обращение ко мне «гражданка» и вид его подсказывает мне возможность поговорить с ним, что я и делаю: «Неужели вы не понимаете?» В ответ он бормочет: «Ничего не могу сделать». Подошли Сарра с Виточкой, и Сарра тоже с ним заговорила. Он еще больше растерялся. Здесь я сделала то, что по всем человеческим понятиям зовется предательством — я оставила Сарру и Виточку на произвол судьбы. Воспользовавшись тем, что полицейский отвернулся от меня, прошмыгнув за его спиной, я бросилась ко второму дому. Забежала не в первый подъезд, где, как мне казалось, гестаповцы еще были, а в более дальний, второй подъезд. В комнате на первом этаже, где я очутилась, стояла широкая кровать, а напротив, у противоположной стены узенькая кушетка. Первая моя мысль была залезть под кровать, но, нагнувшись, я увидела, что под нею стоят чемодан и большая корзина. Не решаясь выдвинуть их, боясь потерять мгновение, я нырнула под кушетку и сделала это своевременно. В комнату вошел полицейский. Из узкого своего укрытия я хорошо разглядела его. Это был крупный мужчина с грубым красным лицом. Постояв некоторое время в раздумье, он нагнулся к кровати и вытащил корзину, затем чемодан. Порывшись в них, стал выбрасывать на пол белье и всякий хлам. Не находя ничего подходящего для себя, отбросил их ногой. Если бы он бросил один только взгляд в противоположную сторону, он увидел бы меня. Но он не взглянул. Я лежала, затаив дыхание, и боялась, что неистовый грохот моего сердца выдаст меня. Как барабан оно стучало в моей груди и мне казалось, стук этот заполнил всю комнату. Полицейский вышел и поднялся как будто по лестнице выше на второй этаж. В комнате больше никто не появлялся. Со двора доносились крики и выстрелы. Затем все стихло. Время шло и шло. Начало смеркаться. Я лежала не шевелясь. Вновь на дворе раздались голоса, выкрики, плач, возгласы. Прислушиваясь, я поняла, что это голоса людей, возвратившихся в гетто с работы. Вылезаю из своего укрытия на двор. По двору мечутся люди, окликают родных в тщетной, мучительной надежде найти, увидеть их живыми. Захожу в нашу опустевшую квартиру — никого уже нет, нет моих родных — Маши с Юзиком, Ханны Пурт и Годл с их малышами. Уцелели только Лиза с Томочкой, спрятавшиеся под кроватями и также как я, оставшиеся незамеченными. Сумели укрыться Нюра с матерью и ее родственниками. А в нашем доме еще стоит запах свежевыпеченного хлеба, но хлеба также нет: его успели растащить жильцы, уцелевшие от расправы — и не только хлеб, было расхищено все, что осталось от тех, кому уже ничего не нужно. Из наших немногих вещей я тоже мало что нашла. Лиза, опьяненная радостью, что ей с Томочкой и на сей раз удалось спастись, накормила меня винегретом, что было царским угощением.

Находясь в каком-то дурмане, оглушенная образовавшейся вокруг меня пустотой, я бесцельно слонялась по двору. Из верхнего этажа дома, где я пряталась,

вынесли убитого мальчика. Детская его рука с восковыми, измазанными кровью пальчиками, безжизненно свисала вниз. Кто-то, сумевший вблизи укрыться, слышал, как он умолял полицейского не убивать его. И только при виде этой детской беспомощно болтающейся мертвой ручонки, я сразу с предельной ясностью осознала весь ужас происшедшего. Затем наступила ночь, бесконечно длинная, полная безысходного одиночества, страшная ночь. Где-то рядом спали Лиза с Томочкой, а я не спала. Мыслей не было. Тоски не было. В душе была мертвящая пустота. Был еще крик, нет, не крик, а доносящийся издали протяжный звериный вой женщины, пришедшей с работы и не заставшей своих детей. Затем и он умолк. И был еще ветер, буйный ветер, рвущий рамы окон. Он бушевал всю ночь. Потянулись странные монотонные дни и ночи. Днем, сбившиеся вместе в одной комнате, я, Лиза с Томочкой и еще две женщины, дети которых были убиты, заползали в подвал. Там, лежа на мерзлом грунте, на колючих мелких камнях, коченея от холода, в слабом свете, проникающем из отверстия в фундамент дома, я отчетливо в полумраке увидела Сарру. Она стояла спиной ко мне, полусогнувшись у противоположной стены. На ней было синее ее пальто с оторванным воротником и черная бархатная шапочка, в которых она выбежала на двор в тот страшный день. Фигура ее была неподвижная, она не оборачивалась, а я глядела на нее, не отрывая глаз. Столько лет прошло с тех пор, а меня и по сей день не оставляет чувство, что в том моем спасении имеется привкус подлости. Чем я могла им тогда помочь? Но имела ли я право сама спастись?

Лиза была беременна еще довоенной беременностью и вскоре у нее начались роды. Родила она мальчика. Здорового, орущего младенца во что-то завернули, вынесли из комнаты и где-то выкинули. Мать едва взглянула на него и не обронила ни одной слезы — нужно было Томочку спасать, милую свою, любимую Томочку. Лиза была в числе немногих еще рожавших в гетто женщин. Вскоре это полностью прекратилось. Детей нельзя было сберечь. Погибали не только новорожденные. Маленькие дети до четырех лет не умели еще разумно вести себя. Они не понимали, когда их затаскивали в «малины», что следует затаить дыхание, не издавать ни звука и молчать, молчать. Случалось, когда затаившиеся в тайниках люди, при приближении немцев боясь, что малыши выдадут их плачем, душили их на коленях матерей и те не смели роптать. На одном из последних этапов существования гетто, незадолго до моего побега из него, когда осталось всего несколько улиц и немного людей, какая-то женщина забеременела. Это была сенсация, распространившаяся по всему гетто. И если еще можно было веселиться при подобных обстоятельствах, то воспринималась она как забавнейший анекдот. Растерявшийся муж этой женщины отбивался от сыпавшихся на него со всех сторон насмешек едва не плача, жалко и беспомощно.

Не помню, как перебивалась и чем питалась я после гибели моих родных. Обменивала последние, оставшиеся после них обноски. Неимоверного труда стоило принести полведра воды из колонки. В связи со значительным уменьшением населения после акции второго марта началось очередное сужение территории гетто. Какие-то улицы были выделены только для «специалистов», остальных стали переселять с места на место. Этих легче было уничтожить. Дабы никто не

осмелился уходить из предназначенного ему угла, было приказано пришить на одежду рядом с желтой латой номер дома. Незамедлительно кара настигала каждого, кто осмеливался ночевать не в своем доме. Немецкие евреи, находившиеся в зондергетто, в отличие от нас носили на груди и спине не латы, а шестиконечные звезды, разумеется, желтого цвета.

Безысходность и голод вынудили меня пойти на биржу труда, и опять тайный инстинкт предостерег меня от того, чтобы зарегистрироваться там в качестве врача. Таким образом, мне удалось избежать знакомства с Эпштейном, возглавлявшим биржу труда, лично знавшим всех врачей гетто.

## В концлагере Тростенец

Ежедневно, по утрам, на Юбилейной площади, возле биржи труда собирались рабочие колонны, по надобности формировались новые, и в одну из них я завербовалась. Это была колонна из неквалифицированных рабочих, предназначенная для работы за пределами города с временным проживанием там. Меня прельстило именно это обстоятельство — возможность какое-то время находиться вне гетто, вырваться из него. Набранных рабочих, в основном женщин, погрузили на грузовые машины и повезли в неизвестном направлении. До последнего момента никто не знал — везут нас на уничтожение или действительно на работу. Наконец, со вздохом облегчения мы увидели, что машины остановились возле пустых деревянных бараков, обнесенных колючей проволокой. Вблизи виднелась деревенька, называвшаяся, как вскоре стало известно, Тростенец. В бараках оказались нары с набитыми соломой матрасами. Нас даже накормили — выдали по ломтю хлеба и яйцу — нечто фантастическое, что в последующем не повторялось. Оказывается, нас завербовала строительная организация ТОДТ[4]. На следующий день ранним утром всех погнали на земляные карьеры, где нужно было рыть песок и насыпать его в подъезжающие грузовые машины. Этим мы занимались весь период пребывания в Тростенце. Через сутки привезли еще одну партию рабочих, но уже из зондергетто. Немецких евреев поселили в других бараках, отдельно от нас. Отделены от нас они были не только бараками, но и клозетами. Строжайше запрещалось пользоваться ими не по назначению. Об этом гласили вывески: «латрин фюр руссише юден». *(Отхожие места для русских евреев)*. Дальше находились и вовсе недосягаемые клозеты для высокородных задниц немецкой солдатни. Немецкие евреи, как я уже говорила, держались высокомерно, считали нас ниже себя, даже брезговали нами. По манерам, привычкам, складу мышления они мало отличались от наших общих господ, которые, к слову сказать, исподтишка общались с ними, считая, не без основания, их людьми своей родной земли.

В этих, в общем-то, трагических обстоятельствах, иногда возникали комические ситуации. Однажды, одна наша женщина зашла невзначай в клозет для немецких дам. Трудно передать какой поднялся переполох, и с каким негодованием они гнали провинившуюся вон. С возмущением они кричали: «Здесь только для немецких евреев». Естественно, наши чувства были взаимны. Среди этой малопривлекательной публики был один трогательный любовный дуэт. Молодожены Юлиус и Лотта нежно любили друг друга. Любовь озаряла сиянием их юные лица. Какой

это был контраст с другими лицами — озлобленными, несчастными. Юлиус незаметно подкрадывался к Лотте и целовал ее в шейку. Оба заливались радостным смехом, не замечая ничего и никого, словно не понимая, где очутились и что ждет их. Юлиус мог остаться в Германии — по матери он был немцем, это давало ему какое-то преимущество, но он не мог расстаться со своей любимой Лоттой и последовал за нею в ад. Кажется, они действительно не поняли, что очутились именно в аду. Когда в последующем я случайно увидела через проволоку зондергетто бледное осунувшееся личико Лотты, сияние счастья сменилось на нем выражением безысходной тоски. Она скорбно покивала мне своей хорошенькой головкой. Не знаю, был ли еще тогда жив Юлиус.

А пока мы находились в бараках в Тростенце, за колючей проволокой, ежедневно копали землю, и общение с жителями деревни нам было строжайше запрещено. Тем не менее, нам удавалось при случае перекинуться с ними несколькими словами и узнавать кое-какие новости. Конвоиры, сопровождавшие нас на работу, явно были не из числа годных для строя вояк. К своим обязанностям они относились с прохладцей, но постоянно орали, люто ненавидя этих «ферфлюхте руссише юден». Наделяя нас тумаками, дрались они редко, что, по-видимому, требовало дополнительных усилий, которые они не считали нужным на нас растрачивать. Наиболее колоритен был один старый маразматик с трясущимися руками и плохо гнущимися коленями. С него буквально песок сыпался. Рабочий день под его командой начинался с бестолковой суеты. Он толкался, ругался, забывал собственные распоряжения. Наши женщины дивились, — с какой печки стащили эту старую развалину. При всем своем слабоумии, он неплохо оценил мой истощенный вид и физическую слабость, и однажды, ткнув в меня пальцем, объявил: «Она плохо работает, ее нужно расстрелять!». Когда ярость его выплескивалась наружу, он в своей старческой раздражительности выкрикивал излюбленную фразу, мешая русский язык с немецким: «Гей цум тайбл (иди к черту), ин дупес, в ж…». Угомонить его можно было только бутылкой молока, за которой он обычно посылал в деревню одну девушку из нашей группы. Когда он уж очень надоедал нам, женщины кричали ей: «Пойди, наконец, за его соской!». Насосавшись молока, он успокаивался, впадал в блаженную дремоту и наша деятельность его больше не интересовала.

Были, конечно, фигуры пострашнее, но все же несколько недель, проведенных в Тростенце, оказались передышкой, площадкой, на которой удалось передохнуть после дороги, пройденной над пропастью и зияющими впереди. Не было гетто. За бараками стлалось поле, зеленел луг. Были простор и тишина, благословенная тишина мирной земли, шелест деревьев, пьянящий запах полевых трав. Великая жизнь природы в ее естестве. Минуты забвения, отключение от беспощадной судьбы своей, от войны, от людей, от собственной сути. И было также беспросветное одиночество среди совершенно чужих мне людей, которых общее несчастье и случай свели вместе.

Были отдельные дни, когда нам приходилось работать рядом с немецкими евреями. Кое-как мы с ними объяснились, и меня удивило, что они любили Германию и тосковали по ней. Когда я одному, кажется, также врачу, сказала, что мне

непонятно, как можно любить такую страну и подобный народ, он с негодованием ответил, что я ничего не понимаю, что Германия изумительная страна, а немцы прекрасный народ. Оказывается, патриотизм возможен даже в подобном случае. Все же Тростенец подарил мне подружку, с которой вскоре мы стали неразлучны.

Это была совсем молоденькая девушка, значительно младше меня и звали ее Соней, Сонечкой, маленькой Сонечкой, ставшей мне близкой, почти родной. Сонечка была очень хороша собой. Милые ее черные глаза слегка косили — совсем как у Катюши Масловой из «Воскресенья», и она чуть-чуть заикалась, что придавало ее разговору какую-то забавную прелесть. Сонечка не относилась к категории сложных, интересных натур, и головку ее не отягощал большой умственный багаж. Очарование было в какой-то ее душевности, доброте, искренности. В аду гетто, где осатанели зрелые люди с выдержкой и жизненным опытом, она сохранила «человеческое я», деликатность, скромность, отзывчивость. Ни единого раза не видела я гримасы злобы на ее кротком лице, не слышала грубых, диких слов, которые, быть может, невольно рвались из истерзанных душ. Она была словно цветок, брошенный в клоаку.

На фоне Тростенца вскоре появилась одна неожиданная фигура. Это был человек не первой молодости в немецкой офицерской форме, в каком чине я не разобралась, но он имел отношение к организации ТОДТ и к нашим работам. Он оказался русским. Русский человек в немецкой форме. Присмотревшись ко всем, он остановил свое внимание на нас с Сонечкой. Точнее сказать, именно на Сонечке, но поскольку мы были неразлучны, то и я оказалась в поле его зрения. Исподтишка, стараясь делать это незаметно для окружающих, он начал общаться с нами и чем дальше, то все откровеннее. Он как-то рассказал о себе. Судьба мотала его по заграницам, он жил в Турции, затем осел в Германии и женился на немке. Это был обычный путь белоэмигрантов, и я поняла, что он, по-видимому, бывший белогвардейский офицер. По профессии инженер, он был призван в немецкую армию, в которой находился и его сын, воевавший где-то на Украине. Как мы заметили, с немцами он мало общался, сторонился их, но встречался с молодым учителем из деревни Тростенец, которая хорошо была нам видна. С этим учителем случайно и мне удалось поговорить несколько раз. С его слов мы узнали, что фамилия нашего знакомого Чернышев, он из дворян, по происхождению граф и какой-то его предок был упомянут Львом Толстым в «Войне и мире». Учитель отзывался о нем хорошо. Чернышев пытался, как мог облегчить нашу участь. Ему удалось даже на какое-то время отстранить меня от тяжелой физической работы под тем предлогом, что я врач и слежу за здоровьем рабочих. Вскоре это заметил начальник рангом повыше, вознегодовал и меня опять со всеми остальными стали гнать на работу. Сонечку, которая вызывала у него какие-то эмоции, он посылал убирать свою комнату и разрешил пользоваться его пайком. Следует сказать, что хозяин комнаты во время этих уборок всегда отсутствовал, видимо не желая стеснять Сонечку. Сонечка же боялась злоупотреблять оказанным ей доверием и, не желая ущемить владельца весьма скромного пайка, отрезала тоненький ломтик хлеба, иногда смазывая его повидлом. Один раз она осмелилась и меня таким ломтиком угостить.

Тогда и в последующем я имела возможность убедиться, что немецких военнослужащих, находившихся в тылу, кормили более чем умеренно и не случайно немецкая солдатня жадно набрасывалась на еду и тащила ее, как только могла и где только могла. «Матка, яйки — матка, шпик».

Чернышев втихаря слушал советское радио и при удобном случае передавал нам советские сводки. К сожалению, в них не было ничего радостного, но все же они бодрили нас. Где-то все же есть Советская страна, она живет своей жизнью. Сражается, дает отпор фашистам. Хоть прямо Чернышев не высказывался, мы все же поняли, что он всей душой желает поражения Германии. Он тосковал по своей бывшей родине, жадно расспрашивал о ее быте, культурной жизни, музеях, театрах. Это был русский интеллигент старой дореволюционной формации. Любил он также пофилософствовать и однажды изложил мне свою точку зрения на текущие события: «По своим воззрениям я не материалист и тем более не марксист, я религиозен и верую в бога. Я убежден, что исход войны зависит не от того, чья армия окажется сильнее, а определится тем, как будет предрешено свыше, на небесах, и именно ваша судьба, судьба евреев определит победу или поражение Германии. Если вам суждено быть на земле, Гитлер потерпит крах». Подобная точка зрения меня немало удивила, тем более что во всем прочем Чернышев рассуждал вполне разумно. Он пытался утешить нас библейским изречением: «Все пройдет». Я слушала его и думала: «Мы тоже пройдем». Немцы не верили ему и, чуя недруга, злобно косились на него. Несколько раз в него стреляли из-за угла. Увы, вскоре нашему относительному благополучию в Тростенце пришел конец.

Началось с того, что мимо нашего лагеря стали регулярно проезжать грузовые машины, битком набитые хорошо одетыми людьми с саквояжами, чемоданами и детьми. Не задерживаясь, они направлялись в леса за деревней, откуда через некоторое время слышались выстрелы. Те, которых везли, а везли их с запада, были спокойны и не подозревали, что им уготовано. Мы же, в лагере, быстро поняли, в чем дело. Жители Тростенца, с которыми время от времени удавалось перекинуться несколькими словечками, шепотом рассказывали, что происходит за лесом во рвах. У них появилось странное поверье, о котором убежденно рассказала мне одна деревенская женщина. Они в деревне, приметили, что после расстрелов, по ночам появляется сильный ветер. Со страхом она повторяла: «Так он шумит, все ломает, гудит до утра». Как уже было не вспомнить мне свист ветра, рвущего мою душу и оконные рамы в страшную ночь второго марта. По-видимому, в эти дни решалась и наша судьба — горстки людей, заброшенных в Тростенец, но в силу каких-то причин, руководители нашего участка работы решили нас, своих рабочих, сохранить. Таким образом, организация ТОДТ продлила нам жизнь. Однажды утром всех подняли по команде и, выстроив в колонну, вывели из Тростенца под охраной. Туда нам уже не пришлось вернуться. С тех пор не видели мы больше Чернышева и ничего не знали об его дальнейшей судьбе. Но вскоре стало известно другое. Тростенец был превращен в лагерь смерти.

## Рабочий лагерь в Красном Урочище

Нас привели в Красное Урочище, на территории которого после войны построен МАЗ, а тогда там находился обширный, обнесенный проволокой, рабочий лагерь. После войны я неоднократно ездила в Красное Урочище, пытаясь обнаружить, где находились наши бараки, немецкие мастерские — «Галле», солдатские казармы, но местность неузнаваемо изменилась. Шумный район города, с большими домами, магазинами, множеством людей на улицах, непрерывно движущимся транспортом — ничто уже не напоминает значительно отдаленное от города место нашей каторги. А в те времена Красное Урочище, превращенное в многонациональный лагерь, чем-то напоминало библейскую Вавилонскую башню, где было смешение народов и языков. В мастерских «Галле» работали чехи, поляки, бельгийцы, французы, русские, даже немцы — эти уже в качестве мастеров и надсмотрщиков. Подсобными рабочими для всяких грязных работ были мы, евреи. Совсем изолированно держали русских военнопленных, но их было немного. Разноплеменная толпа, согнанная из разных концов Европы на каторжный труд во благо великой Германии, рабочего энтузиазма не проявляла. В одной из мастерских, где работали французы, произошел случай, ставший «притчей во языцех» у обитателей лагеря. Понукаемый немецким мастером француз, в ответ на его окрики: «шнель, шнель арбайтен» расхохотался ему в лицо: «Чего ты так торопишься, то, что вы делаете, все равно достанется не вам, а русским!». Опешивший немец в растерянности наградил его оплеухой. Представителей разных национальностей держали в отдельных бараках и работали они в разных «Галле», дабы помешать их общению. Этому немало способствовало и разноязычье. Однако люди каким-то образом находили возможность общаться и даже понимали друг друга. Всех объединяло чувство ненависти к нашим господам и непоколебимое убеждение, что, в конце концов, немцы потерпят сокрушительный крах. Никакие победы немецкой армии на фронтах не могли изменить эту веру — «только русские победят!». Любопытно, что и некоторые немцы придерживались той же точки зрения.

Отдельные работы производились на самой территории лагеря, очищались какие-то люки, трубы, копали землю — эти работы предназначались только нам. Здесь уже мастера не требовалось, и за нашим трудом следили конвоиры из солдат, по какой-то причине находившиеся в тылу. Возможно, вследствие ранений. Общее же наблюдение за всем лагерем осуществляли эсэсовцы, а возможно гестаповцы (я и по сей день не очень разбираюсь в разделении их функций). Время от времени, не так уже редко, возле нас появлялись отвратительные фигуры, но самым страшным, самым жестоким был Шмидт с его квадратным приземистым туловищем и холодными змеиными глазами на тяжелом неподвижном лице. Он непрерывно что-то высматривал, вынюхивал и, естественно, наибольшим его вниманием пользовались еврейские бараки. Он постоянно кружил возле нас и особую ненависть проявлял к немецким евреям (в отличие от других немцев). Большинство солдат относились к немецким евреям, как к людям своей родной земли, и охотно беседовали с ними. Некоторые же, и в том числе убийца Шмидт, рассуждали так: «Наши все буржуи, капиталисты, у вас же все работали». Немецких евреев, как и в Тростенце, поселили в отдельных бараках, с той же, как и там,

клозетной иерархией: «Латрин фюр дойче юден». Самым любимым занятием Шмидта была охота за людьми. Охотился обычно он по ночам, незаметно крадясь вдоль проволоки и ловя беглецов, пытающихся в темноте сбежать из лагеря. Собачье его чутье удивительно точно приводило его именно к тому участку лагеря и именно в то время, когда совершался побег. Провинившихся он расстреливал на месте. Наутро уже весь лагерь узнавал, что прошедшей ночью Шмидт убил двух человек, пять человек и т.п. Чаще всего бежали поляки, которым относительно не так уже далеко было добираться до своей родины. Работа в лагере начиналась в шесть часов утра и длилась до потемок. Кормили нас омерзительно, хуже, чем в Тростенце, мы еле держались на ногах от усталости и постоянно сосущего чувства голода.

Однажды в лагерь пригнали большую толпу испуганных полураздетых людей. Это были крестьяне из нескольких деревень Смоленской области, внезапно, среди ночи, поднятых с постелей, и погнали их, кто в чем стоял. За какую провинность им самим не было известно. Поместили их поблизости от нас. Голодали и холодали они ужасно. Использовались они, как и мы, на самых грязных работах. Иногда мы работали вместе. Очень смешным показался мне рассказ одного сельского жителя. В своей деревне им никогда не довелось видеть евреев. Когда же до них дошла гитлеровская пропаганда, им стало любопытно, что, мол, это за выродки такие. Когда, наконец, какому-то парню понадобилось съездить для чего-то в Смоленск, ему настрого наказали обязательно евреев этих посмотреть. Вернувшись назад, на расспросы любопытствующих, он ответил: «Такие, как все, только черные». Из этих несчастных голодных людей мне запомнились несколько подростков и ожесточившийся озлобленный Сапожков. Так получилось, что пришлось мне с этим Сапожковым и худеньким подростком Саней чистить люки, выгребать оттуда кирпичи, булыжники, какой-то металлический лом. В люк спускался Сапожков, наваливал все это в ведра, которые мы с Саней по очереди тащили вверх. Матерно ругаясь, Сапожков валил в ведра тяжестей, как можно больше, словно мстил нам за все свои обиды. У меня темнело в глазах и подгибались ноги при вытаскивании тяжеленных этих ведер, а когда я попросила его поменьше нагружать их, на мою голову посыпались проклятья. Сапожков орал: «Вишь какая, трудиться не хочет, это она хочет, чтобы мы за нее работали, чтобы ты, Санька, за нее ведра ворочал». Саня, спокойный мальчик, начал на меня сердито коситься. Однако Сапожков и к нему относился без излишней сентиментальности и нагружал его ведра с не меньшим усердием, чем мои. Когда я посмотрела как Саня, натужившись, из последних сил, со вздувшимися венами на худенькой шее тащит вверх ведро своими полудетскими руками, я бросилась ему помогать и вдвоем мы вытащили проклятый груз. Когда пришел мой черед, Саня в свою очередь помог мне. С этого момента мы с Саней работали дружно, помогали друг другу, несмотря на ругань Сапожкова, осыпавшего проклятиями нас двоих, всех евреев, немецкую власть, советскую власть и вообще весь белый свет. Запомнился мне и другой подросток Коля, с которым также пришлось работать. Он удивил поразительным для его возраста пониманием всего, что происходило, и какой-то душевной интеллигентностью.

К этому времени к нам с Сонечкой присоединилась другая Соня, Соня Кантарович, балерина, оставшаяся одинокой после гибели сестры и матери 2 марта 1942 г. Из Красного Урочища в дневные часы выезжали грузовые машины по различным делам. Водителями этих машин были чехи — в большинстве случаев отличные ребята. Ездили они без охраны. Немцы за ними не очень следили, полагая, что в чужой стране, с чужим языком никуда они не денутся, в чем, как оказалось в дальнейшем, весьма ошиблись. Чехи не только хорошо ознакомились с городом и его окрестностями, но разузнали также маршруты в партизанские зоны. Чехам поручалось вывозить и привозить в лагерь какие-то грузы и, пользуясь своей самостоятельностью, они нередко по нашей просьбе подбрасывали нас нелегально в гетто и к концу дня забирали назад. Я также пару раз, не помню, по какой надобности, ездила в гетто и один раз забрала с собой Соню Кантарович. Нюра же с матерью, которую не могла бросить, оставалась в гетто и, пристроившись на какую-то работенку в юденрате, получала паек. Соня Кантарович — Соня-большая, быстро сдружилась с Сонечкой-маленькой. Она свободно владела польским языком, что очень помогло нам в общении с поляками и даже чехами. Когда мы убирали мастерские, полагалось, что за нами присматривают поляки, обычно квалифицированные рабочие, работающие там. Если нас гнали на внешние работы, то возле нас находились немецкие конвоиры. Здесь мы имели полную возможность убедиться, что если конвоиры эти не были «идейными» нацистами, то оказывались вполне нормальными людьми, в ряде случаев даже доброжелательными. Конвоиры эти были молодыми солдатами, почему-то оказавшимися в тылу, а не на фронте.

Чаще всего за нашей работой наблюдал солдат из рабочих. Не назвав своего имени, он сказал, что по профессии механик и родом из Гамбурга. Пытаясь разобраться в событиях, он все время старался наладить с нами связь, узнать, как мы понимаем, как истолковываем происходящее. Это было затруднительно вследствие языкового барьера и при том мы побаивались быть полностью откровенными с ним. Кажется, зря. Больше всего его интересовало, что послужило причиной войны, и он спрашивал: «Кто же виноват в том, что началась война, это вы — евреи?». И сам смеялся над явным этим абсурдом. Но вопрос не был абсурдным, если учесть гитлеровскую пропаганду и развешенные в городе плакаты: «Войну начали жиды и коммунисты». Об этом я уже писала. Эта мысль усердно вбивалась в солдатские головы и неудивительно, что некоторые верили, что их «фатерланд» подвергся коварному нападению и вынужден был защищаться. Наш механик из Гамбурга видимо придерживался другой точки зрения, что вытекало из его поведения. Он никогда не бранил нас, не бранил русских и Россию и, кроме того, отлично понимал, что нам вовсе не следует усердно трудиться на благо его «фатерланда». Когда он конвоировал нас, мы, по его попустительству, откровенно саботировали. Нужно было, например, рыть ямы, и несколько раз взмахнув лопатами, мы больше не затрудняли себя. Он в это время внимательно озирался по сторонам и, заметив вдали какую-нибудь подозрительную фигуру, коротко бросал нам: «Контроль гейт». Мы дружно брались за лопаты. Это было не раз и не два. Не знаю, был ли он коммунистом, но к фашистской братии он явно не принадлежал.

Эсэсовцы (или гестаповцы) непосредственно нашей работой не интересовались, но своего внимания не лишали. Случалось, среди ночи, когда изнуренные трудом женщины забывались коротким беспокойным сном, за стенами барака внезапно раздавались громкие лающие выкрики, топот и стрельба. Пробудившиеся рабыни начинали в страхе метаться по бараку, ложились на пол, залезали под нары, но двери распахивались и всех выгоняли наружу. Под лающую команду всех выстраивали в шеренгу и немцы, как оголтелые носились взад и вперед непрерывно стреляя в воздух, в стены барака, и никто не знал, что это означает и чем может кончиться. Когда измученные люди уже не стояли на ногах, всех со злобными воплями и хлестая нагайками загоняли назад в барак. После этого, еще колотясь от пережитого, никто не мог заснуть, а уже брезжил рассвет, и нужно было вставать на работу. Это повторялось неоднократно и окончилось совершенно неожиданным образом.

Во время очередной ночной экзекуции к гестаповцу, командовавшему ею, подбежал совершенно неизвестный нам офицер, но как оказалось, руководитель наших работ в ТОДТ. Он буквально как коршун налетел на остолбеневшего от неожиданности гестаповца и, размахивая перед его носом кулаками, стал орать, что не позволит издеваться над своими рабочими. Его рабочие должны работать, а после работы ночью отдыхать, иначе работать не смогут. К нашему удивлению ошарашенный гестаповец смолчал. На этом ночные представления прекратились. В гетто же происходили следующие события. (Из рукописи А.С. Мачиз). «27 июля 1942 г. гестапо издало приказ, что с 28 июля, помимо желтых лат и номеров дома, евреи еще обязаны носить отличительные знаки — красные для рабочих, другие для иждивенцев и прочее. Для получения этих знаков было приказано явиться 28 июля всем поголовно на площадь перед юденратом. Утром, в этот день, после ухода рабочих колонн, в гетто прибыли гестаповцы и полицейские, окружившие его кольцом. Жителей сгоняли из домов на площадь. Туда стали подъезжать душегубки, в них загоняли людей. Одновременно началось истребление тех, кто не мог самостоятельно явиться на площадь. Были уничтожены обитатели инвалидного дома, дети в детском доме, а также больные в больнице вместе с медицинским персоналом. Больных расстреливали на месте в постелях. Среди них погиб композитор орденоносец Крошнер. Медицинский персонал и врачей в белых халатах выстроили отдельной колонной, повели на площадь и умертвили в душегубках. Все гетто было залито кровью, на улицах валялись трупы. На Сухой улице из дому вывели двух человек, одного бросили на землю, покрыли вынутым из окна стеклом, а другого заставили топтать ногами стекло, чтобы изрезать лежащего. Так как он плохо справлялся с задачей, гестаповцы сами стали топтать стекло и обоих замучили. Погром длился 28—30 и 31 июля. На улицах были поставлены столы, покрытые белыми скатертями, и палачи в промежутках своей работы пьянствовали и кутили.

Разносились пьяные крики и смех. Юденрат в эти дни был под сильной охраной, но 29 июля к вечеру вывели оттуда председателя юденрата Иоффе, его заместителя Блуменштока и находившегося там врача Чарно. Они были расстреляны и труппы их валялись на улице до окончания погрома. 30 июля остальная часть

работников юденрата была загнана в душегубки. 31 июля днем был отдан приказ о прекращении акции, но разгул был так велик, что окончился он только вечером. Оставшимся в живых еврейским милиционерам было приказано убрать трупы и после этого начали впускать в гетто рабочие колонны. Жуткую картину представляло собою гетто в ночь на первое августа 1942 г. — плач, крики, обезумевшие лица отцов и матерей, нашедших своих детей убитыми. Из 100 тысяч обитателей гетто к первому августа осталось 8794 человека (включая и предыдущие погромы). В этот погром погибли и 3000 немецких евреев в зондергетто. Опять часть территории отошла к «русскому» району. Кольцо гетто сжималось». Моя подруга Нюра (автор рукописи) спаслась, успев спрятаться со своей матерью в тайнике.

Крыло смерти, нависшее над гетто, не коснулось обитателей нашего лагеря — наш труд был еще нужен. Жизнь, пока она еще была, жизнь убогая, ущербная продолжалась в гетто, продолжалась и в лагере. И опять отчаяние и опять надежда — вдруг все внезапно изменится. Однажды кто-то распространил по лагерю ложный слух — будто заключен мир. Как приободрились все жители его и как внезапно повеселели и подобрели немцы. Это всеобщее просветление длилось не более 1—2 часов. Сводки о событиях на фронтах проникали в лагерь, шепотом друг другу передавались. Они ничем не могли нас порадовать. Лучше всех осведомленными оказывались поляки, непоколебимо убежденные в полном крахе третьего рейха. Благодаря знанию польского языка Соня-большая многое у них узнавала. По-видимому, у поляков был где-то запрятан приемник.

К нашей тройке все чаще и чаще подходил молодой польский моряк, и вскоре мы стали совершенно откровенно с ним беседовать. Он был из Гдыни, поездил по всяким морям, видел много стран и отлично во всем разбирался. По какой-то нелепой случайности немцы загребли его в Гдыне и приволокли к нам в лагерь. Это был превосходный парень, смелый, решительный, очень жизнерадостный. Кроме того, он был умен, начитан, хорошо знал литературу, в том числе советскую, любил Маяковского, декламировал его. Сонечкина миловидность привлекала его внимание, и вскоре он увлекся ею. В ее внешности он нашел черты, напоминающие ему испанских девушек, и назвал ее «красавицей-испанкой». С ним нередко приходил его товарищ — художник. Тот был более сдержанным и молчаливым. Однажды наш моряк сообщил, что в ближайшее время убежит из лагеря со своим другом, и предложил Сонечке пойти с ними. Сонечка не решилась, не захотела расстаться с нами, хоть мы сказали ей, что это быть может единственный для нее шанс на спасение и что с таким бравым парнем можно пойти в огонь и воду. Он простился с нами, назвал день, вернее ночь, когда совершит побег. И весь этот вечер, и ночь мы боялись за него, но утром поняли, что побег удался, так как никто в лагере не был ночью расстрелян у проволоки. Им удалось ускользнуть от всевидящих змеиных глаз Шмидта — главного лагерного убийцы. Дальнейшая судьба обоих поляков осталась нам неизвестной.

Молодые немецкие солдаты постоянно вертелись возле нашего барака и пытались завести знакомство с девушками. Те слегка заигрывали с ними, но дальше этого дело не шло. Даже убийца Шмидт стал проявлять благосклонность к одной нашей прехорошенькой девушке, но был очень осторожен и соблюдал дистанцию.

Вскоре мы имели возможность убедиться, что наши соседи — немецкие дамы отнюдь не отвергали любовных притязаний своих соотечественников и делали это не безвозмездно. Наши женщины злорадствовали: «Вот вам эти достойные немецкие фрау с их дурацким чванством. Это самые обыкновенные шлюхи. И они еще задирают нос». Один очень скромный, тихий, невысокий голубоглазый немецкий солдат, которого, как оказалось, звали Людвиг, не сводил глаз с Сонечки-маленькой. Могу поклясться, что никогда ранее и никогда позже мне не приходилось видеть такого рыцарского поклонения. Людвиг боготворил Сонечку на расстоянии и, когда завел с нею знакомство, не позволял себе ни малейшей вольности, никаких притязаний на нее. Вскоре она перестала его бояться. Как я уже говорила, немецких солдат, работавших в лагере, кормили довольно скудно, но Людвиг никогда не забывал угостить чем-нибудь Сонечку. Недалеко от места, где мы работали, находилась свалка с всякими пищевыми отходами. Женщины, воспользовавшись каждым удобным случаем, ожесточенно рылись в ней, выискивая обгрызенные капустные кочерыжки, хлебные корки, недоеденные картофелины. Несмотря на мучительный голод, наша троица не копалась в отходах, но однажды Сонечка, не стерпев голода начала вместе с другими рыться в этом мусоре. Случилось, что как раз в это время мимо проходил Людвиг. Увидев Сонечку, он, как вкопанный, застыл на месте и глядел на нее глазами полными слез. После этого он стал приносить ей больше еды — не знаю, что он себе уже оставлял из своего более чем скромного пайка. За весь период своего ухаживания Людвиг только однажды очень робко попросил у Сонечки разрешения поцеловать ее. Сонечка милостиво подставила ему свою щеку. Он благоговейно прикоснулся к ней. Людвиг ко всем нам относился очень просто и человечно и, видя добрый его нрав, женщины стали разговаривать с ним на самые рискованные темы. Когда кто-то сказал о победах, одерживаемых немецкой армией, он спокойно возразил: «Все эти победы шайзе (дерьмо), русских очень много и все равно они нас победят. Напрасно кровь человеческая проливается». И это в то время, когда фашистские орды прорвались глубоко в советский тыл, и немецкое радио непрерывно вопило об одерживаемых победах. Вот каким умницей был маленький Людвиг.

Постепенно надвигалась осень — вторая военная осень. Работать делалось все тяжелее. В потемках брели мы на работу и в потемках плелись назад. В бараках, сколоченных из досок, изо всех щелей дул холодный ветер. Все чаще стали доходить слухи о партизанских отрядах, о лесах, где фашисты боятся ступить ногой и мерещились волшебные края, где убийц встречают с оружием, и люди обретают свое человеческое достоинство. Появились разговоры, что чехи — водители машин знают туда пути-дороги. Общаться с чехами труднее, чем с поляками, но Сонебольшой удается вести с ними разговоры. Один из чехов, человек в возрасте за тридцать лет, темноволосый, смуглый с постоянно угрюмым выражением на длинном лице, довольно охотно с нами беседует, но вниманием его пользуется только Сонечка-маленькая. Внимание это делается все более пристальным, и мы втроем решаем, чтобы она вступила с ним в переговоры по интересующему нас вопросу. К этому времени мы уже достаточно хорошо могли с ним объясняться. Он охотно выслушал Сонечку и в принципе дал согласие перебросить нас на своей машине

в партизанскую зону. В наших сердцах затеплилась слабая надежда. Но чех не торопился, откладывал свое обещание, объясняя, что ему нужно лучше прощупать дороги, выбрать подходящее время и т.п. Через некоторое время он сам вызвал Сонечку к своему бараку и назначил ей встречу вечером, чтобы окончательно обо всем договориться. Мы с волнением ожидали ее возвращения. Сонечка прибежала вся в слезах. Нет, он не отказывается от своего обещания, он его выполнит, но он желает, чтобы его отблагодарили, а благодарности ожидает от нее, Сонечки. Горько плача, Сонечка сетовала на свою судьбу и впервые обижалась на нас — речь идет ведь о спасении всех трех, а расплачиваться нужно ей одной —Сонечке. Я сказала ей: «Перестань реветь, успокойся, никто от тебя подобной жертвы не требует. Этот человек негодяй, говорить тебе с ним больше не о чем и не подходи к нему». Сонечка утихла, успокоилась. Больше мы к нему не обращались. Как оказалось, наш выбор был неудачным. Другой чех — молоденький белокурый паренек, которого мы остерегались, так как он казался нам слишком молодым, беспечным и легкомысленным, ухитрился несколько раз вывезти людей из лагеря и, в конце концов, угнав машину, сам перебрался в партизанскую зону.

В лагере появился сыпной тиф, то в одном, то в другом бараке заболевали люди и их куда-то быстро отвозили. Заболевали также и немцы, и, что было удивительным, они, будучи сытыми и крепкими, переносили его значительно хуже людей ослабленных и изнуренных.

Немцы буквально валились с ног от сыпняка, и редко кто из них выздоравливал. Много сыпняка было в городе. Боясь его распространения, немцы принимали самые срочные меры. Уничтожив в гетто при июльском погроме общую больницу со всем медицинским персоналом, они обошли стороной инфекционную больницу, не то считая нужным временно сохранить ее, не то боясь туда заходить. Это на время спасло как больных, так и медиков в ней находившихся. В нашем бараке до поры до времени никто не болел.

Однажды утром я проснулась с мучительной головной болью и с трудом поднявшись, поплелась все же в «Галле», где мы тогда работали. Оставаться в бараке днем никому не разрешалось, за невыход на работу полагался расстрел. Но работать уже не смогла — я не стояла на ногах. Один из работавших в «Галле» поляков заметил мое состояние и отослал назад. Не думая уже о возможных последствиях, я вернулась в барак и свалилась на нары. Мой поступок остался незамеченным. К вечеру, вернувшись с работы, женщины сразу сообразили, что к чему, и засуетились. Меня нужно было срочно убрать. Пребывание тифозной больной в бараке грозило опасностью всем и не только в смысле заражения. Барак, где появился сыпняк, мог быть ликвидирован со всеми обитателями. Женщины бегали, совещались, а мне уже было все равно. Я лежала плашмя, голова была налита свинцом, внутренности сжигал адский огонь, и хотелось только одного — пить, пить, пить. Сколько я не пила, не могла залить внутренний пожар, и поминутно сползая с нар, дрожащими руками набирала кружкой воды из ведра, поставленного недалеко от меня. Утром женщины договорились, что меня незаметно увезут в гетто, и согласился сделать это угрюмый чех — несостоявшийся Сонечкин любовник. Совесть его по отношению к нам, видимо не вполне была чиста. Меня уло-

жили в кузов грузовой машины, прикрыв сверху тряпьем. Одна из женщин уселась сопровождать меня. Риск для шофера был очень велик, хоть чехи пользовались правом свободно выезжать из лагеря. Вывезли меня незаметно для охраны. Машина заехала в гетто и подошла вплотную к воротам инфекционной больницы.

## Снова в гетто

Все последующее помню очень смутно — меня переодели в какое-то рубище и положили на койку в большой палате, где вперемешку лежали женщины и мужчины. Потекли длинные мучительные дни, но даже в неясном сознании, я уловила разговор в палате, что приближается седьмое ноября, что ожидается очередная расправа, и на этот раз инфекционную больницу навряд ли обойдут. Скорее всего она вместе с больными будет сожжена. Как хотела я полностью впасть в беспамятство, ничего не чувствовать, не понимать, но как нарочно, словно судьба издевалась надо мной, сознания полностью я не утратила — вопреки тому, что положено при сыпнотифозной горячке. Вместе с тем, сознание это не было вполне обычным — я понимала все, что делается возле меня, но к самой себе у меня появилось странное отношение — я возненавидела свою правую ногу. Я размышляла о ней, как о чем-то чужом, лишнем, постороннем и очень сердилась на нее, что она почему-то «мешает» удобно лежать «моей», то есть левой ноге, к которой я испытывала нежность. Как врач, могу сказать, что это как раз укладывается в клинику сыпного тифа в виде симптома двойника. Разумеется, лечения в больнице никакого не было, оно сводилось к тому, что мы располагали койкой, и раз в сутки нас кормили баландой. Через какое-то время температура у меня снизилась, и я, вопреки всему, начала поправляться. Правда, после падения высокой температуры, несколько суток мне было очень худо. У меня началась неописуемая головная боль, как по расписанию, в определенный час появляющаяся и через определенное время исчезающая. Боль была настолько нестерпимой, что я грызла руки и хотела только одного — умереть. Затем и это прошло. Придвинулось седьмое ноября, со страхом всеми ожидаемое, но к общему удивлению, на сей раз, обошлось без акции. После того, как муки болезни оставили меня, появились новые страдания и самым ужасным из них были вши. Они с каким-то остервенением набрасывались на мое изнуренное тело, грызли, жгли, кололи, мешали спать, не давали ни минуты покоя. Помню, однажды, мне сменили рубашку, и надели новую, которая буквально сама шевелилась от насекомых, и как я не была слаба, у меня все же хватило силенок сбросить ее на пол. Второй мукой был голод. Я бы, наверно, тогда погибла от него, если бы не Нюра. Сама голодная, она все же ухитрялась приносить мне ежедневно миску картофельной похлебки, а иногда даже одну—две сваренных картофелины — вообще неописуемая роскошь.

Рядом со мной положили брюшнотифозного больного. Это был крепкий, даже упитанный мужчина средних лет. Как мог такой оказаться в гетто среди бледных и тощих призраков? Ему приносили хлеб, да, настоящий хлеб, не из мякины. Но есть он не мог, помяв его руками и откусив несколько кусочков, он предложил его мне. Я с жадностью этот хлеб съела. Самое удивительное, что к моему сыпняку

присоединился брюшной тиф. Непостижимый казус. Крепкий мужчина вскоре умер, а я, тощая, как скелет, выжила и начала подниматься на ноги. Только куда мне было деваться? Опять на помощь пришла Нюра. Работая в юденрате, она смогла пристроить меня в инвалидный дом, вновь выросший как гриб после очередного погрома. Это было убежище для тянувших на ногах доходяг.

Располагался инвалидный дом в унылом деревянном двухэтажном бараке с двумя подъездами. Находился он на 2-м Опанском переулке возле проволоки, отделявшей гетто от противоположной стороны улицы, которая была уже за чертой его. Половина здания, расположенная ближе к улице, была занята инвалидным домом, из окон которого улица хорошо просматривалась. Во второй половине находился детский дом, для детей осиротевших, безнадзорных, которых прикончить еще не успели, и которые этого своего часа еще ожидали. Оба этих учреждения содержал юденрат. В инвалидном доме я очутилась не на положении инвалидки, а врача, хоть мало от прочих доходяг отличалась. Моя служебная деятельность началась с того, что я опять оказалась на койке — ноги меня еще плохо держали, но койка эта стояла не среди остальных инвалидов, а отдельно, в так называемом служебном помещении. Комната была разгорожена пополам занавесом. Половину, освещенную окном, занимал пользующийся в доме привилегированным положением сапожник Шимон, лишившийся обеих ног во время какой-то катастрофы на производстве перед войной. Существование в гетто вынудило его заняться сапожным ремеслом, и он научился ловко класть заплаты на донашиваемую рвань. На темной половине комнаты за занавеской стояла моя койка. Шимон был энергичным, деятельным и умным человеком, сумевшим сохранить жизнерадостность, несмотря на свое убожество и пребывание в аду. Он неплохо зарабатывал, что делало его положение в инвалидном доме независимым, и он не нуждался в инвалидной баланде. Возле него почти все время находилась девушка, считавшаяся работницей детского дома и там проживающая. Звали ее Соней (уже четвертая Соня за последний период моей жизни). До войны она была хористкой и пела в белорусском народном хоре. Девушкой она была доброй, отзывчивой, и гетто не испортило ее характера. В моем тяжелом состоянии, она помогала мне, как могла, а иногда исподтишка подсовывала мне какие-то куски, доставшиеся ей от Шимона. Шимон не теряя бодрости духа, любил шутить и тешил нас обеих разными баснями и прибаутками, которые, как не удивительно, развлекали нас. Возглавлял инвалидный дом молодой парень, звали его Левой, и со своей женой Добой он занимал комнату во втором этаже. Там же была еще одна комната, где жили девушки, также считавшиеся работницами не то инвалидного, не то детского дома. На первом и втором этаже были еще палаты для инвалидов. На первом же этаже находилась кухня и та комната, где пребывали я и Шимон.

Трудно представить более убогое зрелище, чем представляли собой обитатели инвалидных палат. Стариков я там не запомнила, они, видимо, быстро умирали, большей частью это были подростки, юноши и девушки. От слабости, холода и голода они не поднимались с коек. Белья на койках, конечно, не было, кажется, рваные одеяла кое у кого были. Об умывании никто не вспоминал. Умываться было некому и нечем, а сил тащить из колодца воду также ни у кого не было. Когда у

меня, наконец, хватило сил стоять на ногах, в мои обязанности вошло разносить им пищу, называемую супом, которой одаривали их один раз в сутки. Хлеб раздавал сам Лева и, кажется, чаще забывал об этом, чем помнил. К слову сказать, сам он и его супруга голодающими не выглядели. Мне лично Лева выдавал хлеб честно. Ломоть неизменно был определенной тонкости. На койках лежали дистрофики разных стадий на разных этапах умирания. Рядом со зловонными скелетами, обтянутыми дряблой кожей, находились раздутые, отечные, с заплывшими глазами существа, скорее напоминавшие покойников в первой стадии трупного разложения. Однажды, когда я разносила варево, достоинством которого было, что оно состояло не из холодной, а из горячей воды, ко мне стремительно бросился один подросток. Я испугалась. Он не ударил меня, но с плачем молил: «Сжальтесь надо мной, дайте кусочек хлеба, только маленький кусочек хлеба». Остальные лежали как всегда, равнодушные уже ко всему. Работникам юденрата меньше всего было дела, как распоряжается Лева во вверенной ему богадельне. Следует сказать, что на второй половине, в детском доме, малышей до такого рода убожества не доводили, они были очень голодными, но не умирающими с голода. За ними присматривали и ухаживали. Возглавлявший его человек, видимо, совести не потерял. Врачом детского дома была изумительная женщина Анна Исааковна Турецкая, сумевшая в этих условиях заботиться о детях, сохранить человеческий облик, достоинство и подлинное мужество. Так как в гетто, и тем паче в инвалидном доме, много умирало с голода, была замечена любопытная закономерность, в правильности которой я имела возможность убедиться сама. За несколько суток до смерти дистрофика, вши покидали его изнуренное тело. Смерть они чуяли раньше, чем он сам. Очищение дистрофика от вшей было предзнаменованием его конца.

Атмосфера в самом гетто все более сгущалась, особенно со времени назначения нового начальника его штурмбанфюрера Рибе и переводчика молодого эстонца Михельсона. Это были чудовищные фигуры и к ним присоединились полицмейстер Бунге и его заместитель Шернер. Рибе уже имел опыт ликвидации Слуцкого гетто, и его назначение в Минское гетто было грозным предзнаменованием. Раньше всего началась охота за еврейскими детьми, которые пробирались через проволоку и за чертой гетто вымаливали подаяние. Их вылавливали и уничтожали. Многие работавшие женщины, боясь оставлять дома ребятишек, тянули их с собой в рабочие колонны. Рибе со своими соратниками подстерегал возвращающиеся в гетто колонны и вытаскивал из них детей. Разумеется, они на месте истреблялись. Однажды Шернер на глазах у матери растоптал ногами насмерть ее ребенка. Рибе и Михельсон поспевали всюду, они рыскали и за чертой гетто, заглядывали в предприятия, где работали евреи. Иногда та или иная колонна, по выбору палачей никогда уже не возвращалась в гетто. Теперь близкие тех, кто уходил на работу, ежедневно с замиранием сердца ожидали прихода колонны в гетто, не зная, увидят ли они еще родных людей или должны проститься с ними навеки.

Однажды, видимо из садистских склонностей, Рибе и Михельсон отобрали на предприятиях тринадцать красивейших девушек, велели им явиться на биржу труда, откуда их повели на еврейское кладбище, раздели догола, наглумились и расстреляли. Лифчик одной из них Рибе спрятал «на память». Одиозной фигурой

был и наш «собственный» мерзавец Эпштейн, из польских евреев, поставленный гестапо во главе биржи труда, набиравший рабочих. Он неукоснительно выполнял все указания гестапо и организовал из таких же подонков, как сам, милицию. С их помощью чинил расправу. Их главной задачей было выслеживать тех, кто пытался наладить уход из гетто к партизанам или организовывать какое-то сопротивление. А такие попытки имели место, но я имела об этом весьма смутное представление. Знала только, что иногда партизанские проводники проникали в гетто.

Лева, будучи человеком предусмотрительным, в ожидании очередной резни, приготовил для себя и жены тайник. Вырезав на кухне несколько досок, он сколотил из них крышку с приспособленной изнутри ручкой и выкопал глубокую яму, где могло поместиться несколько человек. Сделано это было так ловко, что только при тщательном осмотре можно было заметить, что пол на кухне не сплошной. Шимон также выкопал убежище под лестницей возле входной двери в подъезде. Через отверстие на полу нужно было ползти под ним на животе довольно большое расстояние, где была выкопана яма на одного или двух человек. Однажды, во время очередной внезапно возникшей тревоги, Шимон ринулся в свое укрытие, и я поползла за ним, но не доползла. На мне было зимнее пальто, мешавшее мне двигаться, оно сбилось и хомутом сдавило мне грудь. Я не могла уже ползти ни взад, ни вперед и начала задыхаться. С неимоверными усилиями, царапая шею и грудь, мне удалось, наконец, расправить пальто и выползти наружу. Тревога в тот день оказалась ложной.

## Спасение от гибели

В марте 1943 г. началась серия уничтожения жителей отдельных домов в ночные часы там, где предполагалась возможность сопротивления. Это приняло уже не эпизодический, как раньше, а регулярный характер. Здесь, по-видимому, «работал» Эпштейн, он и наводил гестаповцев. В начале апреля Рибе велел представить ему списки врачей в гетто и приказал им явиться на биржу труда. На сбор пришло мало врачей, и на следующий день был отдан жесточайший приказ неукоснительно явиться всем без исключения. В списках врачей моя фамилия не числилась. Как было мною упомянуто, я регистрации в юденрате избежала. Врачом в инвалидном доме я оказалась случайно, минуя внимание Эпштейна. Разумеется, я бы не пошла на биржу труда по вызову Рибе, но на мое несчастье меня лично знал один врач, заправлявший в юденрате. Он разыскал меня и вынудил пойти.

Биржа труда располагалась в деревянном одноэтажном доме на Юбилейной площади. Теперь от него и следа не осталось. Передний фасад с входной дверью выходил на площадь. В нескольких передних комнатах сидели работники биржи. Стена и внутренняя дверь отделяли это помещение от большой комнаты, куда обычно приходили люди, нанимавшиеся на работу. За этой комнатой были сени и еще одна дверь наружу со стороны заднего фасада. С этой стороны дом окружал небольшой двор, отгороженный от улицы забором с калиткой. Собравшиеся по приказу Рибе врачи сбились на дворе, не зная и не понимая, для чего их собрали. Но выйти назад уже было нельзя, калитку охраняли еврейские милиционеры. Они

впускали, но не выпускали. Постепенно сгущалась атмосфера тревоги. Затем всем было приказано войти через сени в большую комнату. Сени также охранялись милиционерами. В комнате не было никакой мебели, только у окна, за небольшим столиком, сидели Рибе, Михельсон и Эпштейн. Всех собравшихся поставили вдоль стены с правой стороны, там, где имелась дверь во внутреннее помещение и, напротив двери, выходящей в сени. Эпштейн начал вызывать врачей по порядку, как они стояли. Они называли свою фамилию и место работы. Рибе выслушивал и, не произнося ни слова, пальцем указывал, кому остаться на месте, а кому перейти к противоположной стене. Когда очередь приблизилась ко мне я, понимая, что не следует называть себя и тем более сказать, где «работаю» незаметно перешла к группе врачей, назвавших себя. Когда кончив проверку, Рибе велел отпустить тех, кого поставил у противоположной стены, остальных же оставил, всем стало понятно — остались обреченные. Освобожденных через сени вывели наружу. Воцарилось тягостное молчание. Мне запомнилось искаженное ужасом лицо молодой женщины — детского врача Савчик. Рибе позвал Эпштейна и через дверь, ведущую во внутреннее помещение, оба они вышли из комнаты. За столом остался один Михельсон. Он сидел с безразличной миной и ни на кого не глядел. Мы оказались в ловушке. С какой-то сверхъестественной быстротой и четкостью заработала мысль. Напротив нас находилась спасительная дверь во двор, уже недоступная для оставленных. Броситься в окно? У окна сидел Михельсон. Ну и что же? Если погибнуть, то сразу, а прежде чем он успеет убить, рывком налететь на него, впиться ногтями в глаза, в гнусное это лицо. Но мысль мгновенно подсказала другое решение. Вторая дверь, ведущая в помещение биржи труда, находилась в стене, у которой мы стояли. Когда Рибе и Эпштейн выходили, дверь эта совершенно беззвучно открылась и закрылась. С осторожностью загнанного зверя, я еле заметными шажками придвинулась к двери и остановилась возле нее. Дверь распахнулась, в комнату вернулись Рибе и Эпштейн. Усевшись за стол, они вместе с Михельсоном стали о чем-то говорить, повернувшись спиной к окружающим. В этот момент, приоткрыв дверь, я скользнула за нее. На меня глядели бледные, полные страха лица работников биржи. Сдерживая себя изо всех сил, чтобы не вызвать подозрения, я приостановилась, у кого-то спросила, где Геня — моя знакомая, работавшая на бирже. Кто-то ответил, что ее нет. Не торопясь, я направилась к выходу и вышла на площадь. Здесь уже я бросилась бежать, сколько у меня было сил. Какая-то дура пыталась меня остановить, расспрашивая, что на бирже происходит. Вначале я ринулась в сторону инвалидного дома, но потом подумала, что вдруг меня спохватятся и станут там искать, и побежала в противоположную сторону. Мне пришла в голову мысль, что лучше всего укрыться в инфекционной больнице. Врачей инфекционной больницы Рибе отпустил, и они вместе с женщиной — главным врачом (фамилии ее не помню) сидели все вместе. Я обратилась к ней с просьбой оставить меня в больнице хотя бы на одну ночь, но она завопила, чтобы я немедленно ушла. К чести других врачей, как я потом узнала, они возмутились и набросились на нее с упреками, но я уже выбежала из комнаты. С территории больницы я не ушла. Очутившись на дворе, где в это время никого не было, я заметила стоявшую на отшибе уборную. Забежала туда. К моему счас-

тью она никому не понадобилась, и в нее никто не заглянул. Я стояла неподвижно пока не начало темнеть. Был холодный апрельский вечер с ветром и мокрым снегом. Мои ноги закоченели и уже плохо держали меня. Когда стало совсем темно, я вышла из уборной. Кругом царила кромешная тьма, издали смутно виднелось здание больницы. В окнах его не видно было даже слабого отблеска света. На ощупь, передвигаясь вперед, я набрела на какое-то строение, как мне показалось, сарай, нашла дверь и она оказалась не запертой. Внутри этого помещения валялось вонючее тряпье, снятое, по-видимому, с больных или с покойников. Я легла на него и укрылась им, но оно плохо грело и, колотясь всю ночь от холода, без сна я пролежала в сарае до утра. Утром, выбравшись наружу, когда уже разрешалось ходить по улице, я опять не знала куда пойти. Мои подружки Соня-большая и Сонечка уже находились в гетто. К зиме их всех выставили из Красного Урочища, но где они поселились, я не знала. К Нюре пойти я не решилась. Мне нужно было найти место, где можно было спрятаться, и я вспомнила, что у наших довоенных соседей имеется «малина». Меня встретили хорошо, накормили, спрятали в «малине» — засекреченной комнате, вход в которую замаскировали буфетом. В тот же день я узнала, что произошло после моего побега.

Всех задержанных отвели в бункер. Ночью туда же привели их семьи. Когда врач Савчик увидела своих детей, она обезумела. На рассвете всех расстреляли. Была еще одна деталь: в числе обреченных была женщина-врач, которую хорошо знал Эпштейн. Она стала упрашивать Рибе отпустить ее. Тот дал согласие при одном условии — ее должны заменить другой единицей, другим врачом. Здесь Эпштейн вспомнил, что одна старушка — врач не явилась на сбор, и послал за ней. Ее привели и расстреляли со всеми. Не сомневаюсь, что если бы Эпштейн знал меня, а знал он всех врачей, зарегистрированных в гетто, мне бы несдобровать. Еще через несколько дней от врача, спасенной Эпштейном, я узнала, что Михельсон обнаружил мое исчезновение. После кратковременного совещания он всех оглядел и вдруг бросился к двери, к окну, выбежал наружу, но и след мой простыл, а кто я не было известно. Сама она видела, что я вышла за дверь, и только успела подумать, как я могла подобное сообразить.

Переспав ночь в «малине», я решила не злоупотреблять гостеприимством своих знакомых и вернуться в инвалидный дом, где мне полагались ломоть хлеба и тарелка баланды. После «ликвидации» задержанных врачей, вопрос был решен, и я уже не представляла ни для кого интереса. Моему появлению удивились, но меня накормили, и я опять обошла с баландой всех дистрофиков. Наконец, вечером прилегла на свою койку. К этому времени я уже поселилась на втором этаже, в комнате с двумя девушками, работавшими в детском доме. Одна звалась Евой и до войны она была студенткой университета. Другую — не помню. Если раньше я не разрешала себе полностью раздеваться и разуваться, ложась в постель, то на этот раз, крайне изнуренная событиями последних двух суток, я позволила себе роскошь скинуть платье, обувь и с наслаждением вытянулась на койке во всю длину. Мы мирно разговаривали с Евой. На дворе было удивительно хорошо. Потеплело, снег растаял. На глубоком синем ночном небе блестел месяц. Было очень тихо. На улице за проволокой постепенно прекратилось движение. Иногда

мимо проезжали машины, и вдали затихал их гул. Опять проехала возле дома машина, но как будто приостановилась. Одна из девушек глянула в окошко. Мы слегка забеспокоились. Ну, чего она там стоит? Ну, что там? Подошла другая к окну, а я еще спокойно лежала на кровати, не думая ни о чем. Ева с тревогой сказала: «Там две машины, впереди легковая, а за ней грузовик». Вдруг обе с криком заметались по комнате. Вскочив на ноги, я бросилась к окну и увидела, что из грузовой машины вылезают солдаты в касках, в полном боевом вооружении с автоматами наперевес. Перерезав проволоку, следуя один за другим в затылок, они начали окружать дом. Их черные силуэты четко вырисовывались в голубом сиянии лунной ночи. Одеться я не успела, босиком, накинув на себя рваное зимнее пальто, еще не зная, что делать, я выбежала на лестничную клетку и увидела, как промчались мимо меня вниз по лестнице Лева с женой. Я побежала за ними. На кухне Лева рванул на себя крышку с пола, прикрывавшую яму, и мы втроем кубарем вкатились в нее. Прыгнул туда еще какой-то мальчик, видимо из числа инвалидов. Дом ходуном ходил от ударов прикладов, выбивающих входную дверь, звенели разбитые стекла, трещали оконные рамы. Уже где-то рядом раздавались тяжелые шаги. И в это время в яме, плотно прикрытой крышкой, мы стали задыхаться — не хватало воздуха. Яма превратилась в могилу. Лева осторожным движением чуть сдвинул крышку, оставив узкую щель, и в яму стал проникать воздух. Все кругом гремело от выстрелов, топота свинцовых сапог, рявкающих выкриков и отчаянных воплей. Вот они уже в кухне, карманным фонариком обшаривают все углы, пол, яркий луч света через щель проникает в яму и все же нас не заметили. Ушли, вновь вернулись, опять все освещали и опять не заметили. У меня в это время начался приступ, по-видимому, сердечной астмы. Ничего подобного я не испытывала в своей жизни, ни до, ни после. Словно железный обруч сдавил мою грудную клетку, а сердце сжалось от неописуемой нестерпимой боли. Немыслимо стало дышать. Дыхание сделалось хриплым. Почти потеряв сознание от невыносимого страдания, уже не боясь собственной гибели, ибо ничто уже не могло быть страшнее этой муки, остатком разума я еще понимала, что выдать других нельзя и когда приближался топот сапог, я сжимала рот и горло, чтобы не дышать и на какое-то мгновение мне это удавалось. Если бы убийцы хоть на минуту задержались на кухне, мой хрип погубил бы нас всех. Затем наступила тишина.

Прошло время, возможно минуты или часы — в своем тяжелом состоянии я не в состоянии была это определить и вновь раздались шаги, голоса, опять фонарики осветили кухню, и опять все стихло. Время шло. В яме все молчали. Боль, сжимавшая сердце, не отпускала меня, дыхание перехватывало. По-видимому, начало рассветать. Лева осторожно приподнял крышку, прислушался, вылез наружу, за ним выползла его жена. Выкарабкался из ямы мальчик, а я не в состоянии была двинуться с места. Через откинутую крышку я увидела, что стало совсем светло. Мне полегчало, боль постепенно отпустила меня. Тогда решившись, и я полезла из ямы. Все помещение было разбито, полы залиты кровью. Я высунулась в двери и увидела, что немцев вокруг нет, но дом оцеплен еврейскими милиционерами. Заметив меня, они закричали, чтобы я немедленно убежала, так как сейчас должен явиться Рибе. На этот раз я побежала к Нюре. Она уложила меня на

свою койку, потом повела в юденрат, где мне выдали какое-то тряпье на тело и большие рваные мужские ботинки на ноги. В эту ночь были уничтожены инвалидный и детский дома со всем персоналом и больше уже не восстанавливались. Из всех обитателей уцелели только я, Лева с женой и сапожник Шимон, успевший залезть в свое укрытие. Из соседнего дома, притаившись за окнами, люди наблюдали за сценой уничтожения. Одних убили на месте, других загоняли в машины. В расправе приняли участие и полицейские. Видели, как полицейский толкал прикладом Еву в машину, а она с рыданием кричала: «Об одном только молю — убейте меня на месте». Но тот с криком: «Иди, стерва, иди», — втолкнул ее в машину. Уцелела также Турецкая — врач детского дома, но она в нем не ночевала.

Когда ликвидация закончилась, гестаповцы вызвали еврейских милиционеров и велели им стеречь дом, но меня милиционеры пожалели и выпустили. Из рукописи А.С. Мачиз: «Дом представлял сплошную кровавую лужу. Пришедшие утром Бунге и Шернер обнаружили несколько тяжело раненых женщин и тут же прикончили их. Рядом с домом стояла хибарка — изолятор детского дома, в нем было тридцать больных детей. Шернер и Бунге их расстреляли, на некоторых пуль не хватило, тех они закололи кинжалами».

Как пока существующая и еще уцелевшая единица, я нуждалась в жилье, и юденрат вселил меня в дом, где жила большая семья. Возглавляла семью старая женщина с сыном, дочерьми и внуками. Дом был ее собственностью и в силу случайности оказался в черте гетто. Таким образом, семья эта сохранила все свое имущество, не голодала и пустила к себе несколько жильцов по собственному усмотрению. Мое вселение к ним было встречено в штыки, особенно бесновалась бабка, на редкость злобная фурия. Дальше кухни меня не пустили, куда вышвырнули старую поломанную койку, кишевшую клопами. Бабка совершенно не переносила моего присутствия и устраивала мне всякие каверзы. Однажды я случайно увидела как она, вовсе не голодающая, отрезала от моего тонкого ломтя хлеба кусок и кому-то его дала.

## В рабочей колонне. Вновь спасение

Чтобы заработать свою пайку хлеба, я опять пошла работать. Теперь наряду со всеми, ранним утром в колонне я выходила из гетто и вечером возвращалась назад — я пристроилась к колонне, состоящей из женщин, и нас ежедневно пригоняли к вокзалу. Мы убирали помещения, служившие не то казармой, не то пересыльным пунктом для солдат. Состав их там постоянно менялся. Иногда мы опять рыли ямы или перебирали картофель под конвоем. Солдаты по отношению к нам вели себя вполне прилично, но некоторые из них, видимо, «идейные» были настоящим зверьем. Когда мне случалось быть внутри помещения, я всегда старалась попасть в одну из комнат, в ней было «нечто» мучительно приковывавшее мое внимание. Этим «нечто» был большой портрет Гитлера во весь рост. Если в комнате никого не было, я останавливалась, застыв на месте, и не спускала с него глаз. Он был изображен в мундире и наброшенной на плечи шинели. Фуражка сдвинута на лоб. Поза воинственная, фигура устремлена вперед, что создавало

впечатление движения. Верхняя губа приподнята, свирепый оскал, усы топорщатся. Это даже не морда хищного зверя, что-то пострашней.

Был еще один портрет, очень благостный, умилительный Гитлер среди деток. В руках ребятишек цветы. Гитлер приподнял ребенка. У девочки в кулачке цветочек. Какие счастливые детки, какие веселые мордашки. Как хорошо им. А Виточка, Виточка, Виточка, а малыши расстрелянные, заколотые в своих детских кроватках? Их никем не услышанный вопль?

Кормили нас, женщин, на вокзале. На путях непрерывно проходили воинские составы. В самом помещении вокзала стояли огромные котлы, из которых наливали пищу солдатам во время остановки поездов. Почему-то раздачей пищи руководили медицинские сестры, и нас удивило, как грубо они кричат на своих солдат, могли и ударить. Нам наливали из другого котла баланду, но изредка везло, и в наши котелки попадал солдатский суп. Однажды, когда я несла драгоценный суп в миске, какой-то мальчишка, поравнявшись со мною, плюнул в этот суп. Я съела его не поморщившись — я очень хотела есть. Поразило еще одно обстоятельство — как пренебрежительно говорили солдаты о своих медицинских сестрах. Разве русские солдаты когда-либо плохо отзывались о своих «сестричках»? Немцы же, не стесняясь нашего присутствия, называли их между собой «официрматрасен». Бывали всякие случаи и как-то женщина, работавшая на путях, рассказала мне следующее: из остановившегося эшелона вышли два солдата и, увидев женщин, подошли к ним. Один спросил:

«Это правда, что вас всех убивают?

— Да, правда!

Он повернулся к своему товарищу:

— Как тебе нравится такая политика? — Тот только плюнул. Тогда первый сказал:

— Это не мы, немцы, это они — фашисты!».

Спустя какое-то время нашу колонну, работавшую на вокзале, сократили, оставив в ней немногих, более приглядно выглядевших женщин. Попав в число сокращенных, я пристроилась в другую колонну. Утром нас садили в грузовые машины и везли (куда, куда везут?). Доставляли нас на ферму, где мы занимались прополкой овощей. По окончании работы опять погружали в машины и увозили (куда, куда везут?).

Многие колонны не возвращались в гетто и та колонна, где я работала раньше, в один из дней не вернулась назад. Она перестала существовать, как и работавшие в ней женщины. Однажды, не помню уже по какой причине, я не вышла на работу. С раннего утра было тихо, спокойно. Колонны рабочих покинули гетто. Почти не слышно было голосов, безлюдно. Быть может, сегодня удастся передохнуть. Но что это? Какая-то неясная тревога поднялась на улице. Тревожные возгласы, топот бегущих ног. Началось! Гетто кругом оцепили полицейские. Оставшиеся в гетто люди торопились запрятаться в «малины». Я следом за другими побежала в соседний дом, где «малиной» служила вырытая в погребе яма с крышкой. Спрятавшиеся люди безмолвно стояли в мучительном напряженном ожидании надвигающейся расправы. Постояв несколько минут в этом жалком убежище,

мне захотелось уйти из него. Слишком мрачна и темна была эта набитая людьми смрадная яма. А день был яркий, праздничный со сверкающим солнцем и глубоким синим небом. Непреодолимое желание взглянуть на него хоть еще один раз, увидеть солнечный свет, ощутить нежное прикосновение солнечных лучей, выгнало меня из ямы. Если мне суждено сегодня погибнуть, то пусть убьют меня на земле, а не затопчут как крота в норе.

Я бродила по пустынным, словно вымершим улицам гетто не встречая никого, и ноги сами собой привели меня к старому кладбищу. Мне хотелось только одного — лечь на могилу отца, похороненного здесь несколько лет назад. Но дойти до его могилы мне не удалось. Вдоль ограды кладбища стояли еврейские милиционеры из своры Эпштейна, и они грубо погнали меня прочь. Я немного отошла, но уйти не захотела. Меня всего можно было лишить, права на жизнь, но не могилы. Этого меня уже никто не смел лишать. Обогнув охранявших кладбищенскую ограду церберов, я опять стороной подошла к кладбищу и через отверстие в ограде заползла на кладбище. Дальше я продвигалась по-пластунски, двигаясь то на коленях, то, ползая на животе. Добраться до отцовской могилы мне не хватило сил, но среди полуразвалившихся старых памятников я заметила чью-то, видимо еще недавно закопанную, могилу. Это была яма с небрежно забросанной землею, осевшей под собственной тяжестью. Ни дощечки с именем усопшего, ни камня на этой могиле не было. И, уже изнемогая от усталости, я свалилась в эту могилу. Как хорошо мне стало. Земля согрела меня. На поверхности дул холодный резкий ветер, но в яму он не проникал. А сверху светило, обволакивало своим теплом солнце, не знающее презрения к изгоям судьбы. Я долго лежала в этой яме, глядя в небесную синеву, без мыслей, не думая ни о чем, наслаждаясь покоем, какого не знала все годы страдания. Но жизнь, моя жизнь еще не прекратилась, и она, эта жизнь, требовала своего.

В какой-то момент я начала прислушиваться к тому, что делается вокруг. Меня поразила тишина, не слышно было выстрелов, криков, человеческого говора, топота ног. Приподнявшись, я вылезла из могилы и, уже не скрываясь, не глядя, стоит ли охрана возле кладбища, вышла из него. Улицы были пустынными. Проходя возле проволоки, ограждавшей гетто, я увидела на противоположной стороне улицы группу людей, наблюдавших за тем, что происходит в гетто. Какой-то старик с длинной седой бородой взволнованно закричал мне: «Уходи отсюда, спрячься, в этом доме полицейские!» и указал на дом, возле которого я стояла. Но с каким-то странным душевным спокойствием, овладевшим мною на кладбище, я не двинулась с места. Вскоре из дому действительно выбежали два полицейских, оба тащили какие-то узлы — у одного в руках были новые мужские сапоги. Не взглянув на меня, они торопились уйти со своей добычей. Я, как сомнамбула, продолжала свой обход притихшего безлюдного гетто. Через некоторое время из домов стали показываться испуганные люди. Тревога оказалась ложной, в этот день акции не было, а почему гетто было оцеплено полицией, никто не знал. Возможно, кого-то искали или что-то искали. Рибе предпочитал охватывать «акцией» не все гетто сразу, а уничтожал поэтапно. После истребления обитателей детского и инвалидного домов, они более не восстанавливались, очередь опять дошла до

больницы, общей, не инфекционной, которая, кажется, сохранилась до последней ликвидации гетто. Больничный двор был оцеплен полицейскими, здесь же на месте расстреливали медицинский персонал, двигающихся больных, а тех, кто был неподвижен, расстреливали на койках. Какая-то женщина, услышав, что больница, в которой находился ее ребенок, оцеплена, бросилась туда и прорвалась через заслон. Она заметалась по двору, но выхода из него уже не было. Какой-то участок двора граничил с русским районом и был отделен от него проволокой. Проходивший по улице немецкий солдат приостановился, наблюдая мрачную эту сцену. Затем решительно подошел к проволоке и, раздвинув ее ряды, вытащил наружу женщину с ребенком. Полицейские не осмелились ему воспрепятствовать.

## Побег из гетто

Граница гетто все сокращалась и сокращалась, часть улиц отходила к городу, и само гетто все больше и больше оттеснялось к кладбищу — началось бегство из гетто. Чаще уходили группы с партизанскими связными, уходили и отдельные люди, просто на «авось». Многие погибали в пути, нарываясь на полицейские и немецкие заслоны. Некоторых пристреливали у самой проволоки. Хуже было, когда забирали в гестапо, где терзали. Как-то на рассвете меня разбудила суета на кухне, где я спала. Собирались уйти с группой людей дочь и сын хозяйки дома с ее внуком, мальчиком-подростком. На исходе дня вернулись сын и внук. Группа была задержана полицейскими, расстреляна, погибла и дочь хозяйки. Сыну и внуку хозяйки удалось убежать.

О попытках ухода из гетто, об организации сопротивления, мужественной борьбе с убийцами описано в рукописи А.С. Мачиз, которой об этом было известно больше, чем мне. Я приведу только одну ее запись о гибели врача Турецкой Анны Исааковны, женщины необыкновенной по уму, благородству, выдержке и мужеству.

«В июне 1943 г. пришли из партизанского отряда проводники с требованием медикаментов и врача. Выбор пал на А.И. Турецкую. Четыре раза пыталась она со своей группой выйти из-за проволоки, и каждый раз их постигала неудача. Наконец, в ночь с 16 на 17 июня 1943 г. группа вырвалась из гетто. На расстоянии двух километров от него, они столкнулись с Шернером, который вел отряд полицейских проверять посты. Проводника убили, Турецкую ранили в ногу, другие разбежались. Раненая Турецкая заползла в яму и в ней спряталась. Ее искали два часа прежде, чем нашли. Избитую, измученную привели в пятый полицейский участок. Шернер сутки мучил и избивал ее, топча сапогами и допрашивая, куда и с кем она шла и какое задание выполняла. Ничего не добившись, Шернер завез ее на еврейское кладбище. Ее сняли с носилками и понесли к общей яме. Тогда, выпрямившись, она заговорила. Речь ее была мужественной, и она бросала Шернеру обвинения в лицо. Шернер убил ее выстрелом из нагана, и тело ее с носилок скатилось в общую могилу. После евреи похитили ее труп из общей могилы, похоронили отдельно, украсив могилу полевыми цветами».

Как я уже говорила, обе мои подружки Соня-большая и Соня-маленькая вернулись из Красного Урочища в гетто и поселились вдвоем. Они где-то работали, и я редко с ними встречалась. Помню, как-то пришла к ним и твердила, что нужно уходить, уходить, даже не зная куда, не зная дороги, что лучше быть убитой где-то в пути, чем ожидать смерти в мышеловке. Сонечка-маленькая снисходительно выслушала меня и, гладя своими милыми ласковыми руками мое лицо, сказала жалостливо, словно маленькому ребенку, как всегда чуть-чуть заикаясь: «Б-б-бедняжка, она еще надеется спастись!». Она уже ни на что не надеялась. Вскоре они обе погибли. Об их гибели рассказала мне женщина, работавшая с ними в одной колонне. Когда их колонну к концу рабочего дня окружили, они втроем успели укрыться в уборной на дворе, что не было замечено полицейскими. Но когда колонну угоняли, Сонечка-маленькая сказала Соне-большой: «Давай выйдем, все равно, уже лучше сразу». И они присоединились к смертникам. Женщина же из уборной не вышла.

У Нюры умерла мать, похоронив ее, она нашла возможность уйти из гетто с группой людей. Я осталась одна. Меня по ночам одолевали странные сны. Мне снились дороги, уводящие в бесконечную даль, неизвестную даль. Я бежала по этим пустынным дорогам, и они приводили меня в темный глухой лес. В этом лесу слышалось щебетанье каких-то странных невиданных птичек. Я спрашивала, что это за птички, и чей-то голос отвечал мне: «Это лесные курочки». А разве такие птички есть? Этот сон повторялся много раз, а однажды мне приснился совсем удивительный сон: я стояла у подножья огромной лестницы, уходящей высоко в небо. Она была из чистого золота. А там, наверху, где она кончалась, стояли столы, покрытые белоснежными скатертями, и на них было много-много еды. Никого не было. Я стояла одна в торжественной тишине, но сердце было полно счастья, потому что я знала — сейчас придут голодные со всего света и сядут за эти столы.

У меня не было связей, которые помогли бы мне присоединиться к какой-либо уходящей группе. Да и кто бы согласился взять меня с собою? Слишком уж откровенно еврейской выглядела эта жалкая фигура. Помимо типичной физиономии, моя злополучная национальность выпирала буквально из всего — из потрепанного грязного пальто с содранным воротником, болтающихся на худых ногах рваных мужских ботинок, да и всего остального. Есть о чем говорить. Я была опасна не только для себя, но и для всякого, кто рядом со мной шел. Надеяться можно только на себя. Кому я вообще нужна и куда, куда мне бежать? Другие же бегут. Ожидают чуда, рассчитывают на отсрочку смерти? Или безразличны к ожидающей их участи? Случайно узнала о женщине, пытавшейся безуспешно бежать из гетто. Она знала дорогу, и только чистая случайность вынудила вернуться назад. Она рассказала мне о пройденном пути и приблизительно разъяснила, в каком направлении следует двигаться: из гетто нужно пойти к кирпичным заводам, за ними — в деревню Медвежино, а далее, куда бог приведет. Постепенно в моей, постоянно возбужденной от голода и непрерывных терзаний, голове созрел план побега. Когда я пробовала делиться этим планом с немногими, оставшимися в гетто, знакомыми, он вызывал откровенный смех. Нелепость его была очевидной. План

состоял в следующем: из гетто следует уйти не ночью, когда на улицах задерживают всякую подозрительную фигуру, а среди белого дня. Но разве с такой физиономией и подобным облачением можно показаться за чертой гетто? Каждому дураку ясно, что нельзя. Чтобы осмелиться на это, нужны определенные условия, а этими условиями должны быть сильный дождь, когда каждый бежит скорее укрыться под крышей и не оглядывается по сторонам, а также раскрытый зонтик, под которым можно укрыть свою еврейскую физиономию. Кого заинтересует бегущая под зонтиком промокшая насквозь фигура. Сентябрь 1943 г. Стоят ясные осенние дни. Я бесцельно слоняюсь вдоль проволоки, опоясывающей несколько еще оставшихся уличек гетто. Везде торчат полицейские. Они напоминают котов, подстерегающих мышь. Как будто не смотрят и в то же время настороже. На улицах ходят люди и разве можно на глазах у всех вылезть, раздвинув ряды проволоки. Ее охраняют последнее время более бдительно. Все безысходно. Я не нахожу места, где могла бы незаметно проскользнуть. Что же делать, покорно подчиниться своей судьбе? Нет, нет и нет!

22 сентября 1943 г., небо хмурое, с утра хлещет дождь. Я поняла —нужно рискнуть. Меня пошатывает от слабости — несколько суток я ничего не ела. Влезаю в свое рваное пальто и, чтобы замаскировать отсутствие на нем воротника, наматываю на шею грязный рваный шарф. Чем-то повязываю голову. Из комнаты своей недоброй хозяйки, улучив момент, когда ее там не было, вытаскиваю большой черный зонтик, который я высмотрела заранее. Не испытываю ни малейших угрызений совести — поделом тебе, гнусная старая ведьма. Бегу в сторону улицы Опанской, там довольно большое движение, если выскользнуть за проволоку, можно смешаться с пешеходами. Полицейских в этом районе у проволоки обычно немного. Но что это? Откуда столько полицейских, что же случилось, опять начинается акция? Они стоят на расстоянии нескольких шагов один от другого, временами прохаживаются взад и вперед. Мышь не смогла бы незаметно проскользнуть между ними. Совершенно бесцельно, бессмысленно я стою за проволокой, не спуская с них глаз, и уже понимаю, что моя затея неосуществима. Стою под проливным дождем. Они не глядят на меня, но, по-видимому, хорошо присмотрелись к моей фигуре. Такое количество стражей у проволоки не могло также остаться незамеченным обитателями гетто, и я почувствовала, что там начинается какая-то суета. Простояв подобным дурацким образом длительное время на виду у полицейских, я, наконец, двинулась с места. В это же время в моей голове шевельнулась новая мысль — я вспомнила, что на Республиканской улице небольшой участок гетто был огорожен не проволокой, а высоким забором. Я побежала туда и, присмотревшись к забору, увидела, что в одном месте забор стоит не прямо, а под углом, а ширина этого угла не больше одной, закрывающей его доски. Подергав доску, я увидела, что она не прикреплена и легко сдвигается в сторону. Образуется узкая боковая щель, в которую, однако, вполне можно пролезть. По всей вероятности, кто-то пользовался этой щелью, выдернув заблаговременно гвозди и доски. Теперь я стояла уже не за проволокой, а за забором и чуть сдвинув доску имела возможность наблюдать за улицей, не будучи никем на ней замеченной. На небольшом расстоянии друг от друга стояли двое полицейских и про-

веряли документы у прохожих. Через час или пару часов один из них стал ходить взад и вперед, а потом, видимо, озябнув под непрекращающимся холодным дождем, зашел в дом напротив. Другой же полицейский, не сходя со своего поста, начал проверять у какого-то парня документы и повернулся спиной к забору.

Сдвинув доску, я пролезла в щель и бросилась в подворотню напротив. Двор оказался проходным и вывел меня на какую-то боковую улицу. Здесь, раскрыв свой черный зонт, я двинулась, стараясь не торопиться в сторону Тучинки, обходя стороной гетто. Прохожих на улице было мало, и никто не глядел на меня. Каждый бежал укрыться от дождя. Только ехавший на телеге навстречу мне мужчина с любопытством уставился на меня и не спускал глаз, пока я была в поле его зрения. Но проехал молча. Двигаясь как автомат, я подошла к окраине города и увидела впереди себя немецкие посты. Не останавливаясь, я с улицы зашла в чей-то огород, пересекла его, попала в другой огород и таким образом, пробираясь огородами, я вышла за черту города.

## Дорога к партизанам

Передо мною расстилалась широкая дорога. Мне бы и ее следовало обойти, а я зашагала по ней, словно потеряв всякий разум, в состоянии душевного оцепенения, даже безразличия и, когда ехавшая позади грузовая машина, поравнявшись со мной, внезапно остановилась, я продолжала шагать все тем же ровным шагом, и только глубже надвигая зонт на лицо. Боковым зрением я увидела, что в машине много людей и все они, повернув голову, глядят на меня. Прошло мгновение — машина стояла. Люди на ней переговаривались, и с внезапно сжавшимся от ужаса сердцем я ожидала грубого окрика, команды, издевательского смеха. Но ничего этого не произошло. Машина поехала дальше. Тогда, словно очнувшись, я поняла, что идти по дороге мне нельзя. Дальше я шагала полем, но, не теряя из виду дороги. Впереди замаячили избы, деревянные постройки. Я приблизилась к деревне Медвежино. Не решаясь зайти в деревню, я обошла ее задворками, издали видела каких-то людей. Но не осмелилась к ним подойти. Стежка за деревней привела меня к небольшой сосновой роще и, чувствуя, что мои силы уже иссякли, я начала искать в ней место, где бы можно было укрыться. У самой опушки возле дороги мне бросились в глаза скирды, набросанные из сосновых веток. Раскидав у подножья одной из них ветки, я забралась внутрь, и улеглась на земле, сжавшись в комок. Подошвы моих ног все же вылезали наружу. Я лежала, не смея шевельнуться на мокрой земле. Дождь, неумолчно барабаня по скирде, казалось, проникал до самых недр моей плоти, а я лежала, судорожно прижимая к груди уже свернутый черный зонт, словно он был залогом моего спасения. На дороге слышались чьи-то шаги, обрывки разговора, а когда начало смеркаться, раздались детские возгласы и топот приближающегося стада. Вот они уже рядом со мною, коровы обходят мою скирду, а одна из них перешагнула мои торчащие наружу ступни. Дети, пробегая мимо, меня не заметили. Стало совсем темно. Наступила пасмурная осенняя ночь. Умолкли голоса. Я осторожно выбралась из своей скирды. Со стороны деревни не видно ни одного огонька и только на фоне темного неба

сумрачно очерчиваются черные контуры домов. Я поглядела в другую сторону на вьющуюся вдаль от деревни дорогу и увидела громадную, застывшую на одном месте грозную человеческую фигуру. Эта фигура подстерегает кого-то, выжидает, чтобы я сделала хоть одно неосторожное движение. Это моя смерть меня стережет.

Не знаю, сколько времени я стояла на месте, впиваясь глазами в мрачную тень, пока не догадалась, что это не больше, чем придорожный куст. Тогда, выйдя на дорогу, я направилась в деревню. Мне нужно было с кем-нибудь поговорить, узнать, куда следует двигаться, в каком направлении, в какую сторону. Двигаюсь по безлюдной деревенской улице. Каждый дом грозная загадка и не знаешь, что встретишь за той дверью, куда постучусь. Несколько раз приближаюсь то к одному, то к другому дому, но со дворов несется яростный собачий лай. Слышно, как гремят натянувшиеся цепи, и я отбегаю в сторону. Лай приутихает. Затем опять все повторяется.

Дойдя до конца деревни, я решила постучаться в жалкий захудалый домишко, подумав, что в подобной хатенке навряд ли живут немецкие холуи. Я робко стучу в окошко. Через некоторое время за ним вырисовывается темный силуэт. Испуганный дрожащий голос спрашивает: «Кто там?». Я пытаюсь объяснить. Еще через мгновение чуть приоткрывается дверь. За нею стоят двое: хозяин и хозяйка. Они шепчут мне: «Скорей уходи, у нас в деревне полицейские, ты беги прямо, прямо вперед» и очень неопределенно машут руками куда-то в сторону. «Ты только, — говорят они, — не иди туда, где огни издали, там немецкая мыза, и тебя сразу схватят». Выносят мне ломоть хлеба и захлопывают дверь. Я опять бреду по деревенской улице, пытаюсь надкусить хлеб, но меня знобит, зубы лязкают, и я не в силах откусить ни кусочка. Мне даже не хочется есть. Я двигаюсь, уже не зная в каком направлении, но вскоре замечаю, что блеснувшие издали огни все приближаются и приближаются. Значит, я иду в сторону немецкой мызы. Нужно повернуть назад, но не в силах уже идти, куда бы то ни было. Я валюсь на землю прямо в грязь, в раскисшее от воды поле, все еще не выпуская из рук зонта, и мгновенно засыпаю.

Пробуждение наступило на заре, дождь прекратился, небо чуть порозовело. Издали над крышами деревенских домов вьется дымок —затопили печи. Поднявшись из грязной жижи, с трудом волоча ноги, я опять пошла к деревне, уже ни о чем не думая. И здесь произошло чудо: ко мне внезапно метнулась какая-то женская фигура, в которой я узнала знакомую по гетто Олю Лейбович. Лихорадочно вцепившись в меня, она потащила в сторону от деревни бормоча, что нужно двигаться, двигаться вперед. Я удивилась, что она одна — в гетто она была с прелестной семнадцатилетней дочерью. Все в том же болезненно взвинченном состоянии она рассказала, что накануне вышла из гетто вместе с дочерью, но они нарвались на полицейский заслон. Полицейские погнались за ними, стреляли в них и ее дочь убили наповал, но саму Олю пуля не настигла. Когда полицейские скрылись, она вернулась к телу своей убитой девочки. Возле нее уже стояла группа крестьян. Они убедили Олю уйти от этого места и обещали, что по-человечески похоронят ее дитя.

Таким образом, наши с Олей пути скрестились. Мы шли по дороге, и встречающиеся нам местные жители объясняли, куда следует держать путь. А какой-то парень предостерег нас, что в ближайшей роще находятся полицейские, и как это место следует обойти. Не помню почему, но к концу дня мы с Олей решили двигаться врозь, и я опять пошла одна. Истоптанные мужские ботинки, в которых я вышла из гетто, до крови натерли мне ноги и, сбросив их, я пошла босиком. Помню, что, пройдя часть пути, притомившись, я завалилась в небольшом, но очень густом и мрачном лесу из высоких елей. Находился он возле какой-то деревни и был очень на виду, т. к. располагался на высоком холме. Ко мне подходили женщины, советовали поскорее уйти, т.к. место очень заметное и находиться здесь опасно. Я равнодушно выслушивала их и не поднималась с места. Отрешенная от всего, я все смотрела и смотрела на высокие черные ели и думала, как удивительно похожи они на памятники, а весь этот лес, как кладбище. Затем все же поднялась и опять побрела. Шла по дороге, потом, кем-то предупрежденная, сошла с нее. Дальше двигалась по сжатому полю, где оставшиеся после жнивья высохшие пруты, как гвозди впивались в подошвы моих босых ног. Каждый шаг причинял страдание. Но равнодушная к этой боли, я двигалась и двигалась вперед.

Жила когда-то на свете девочка. Девочка хорошо ухоженная, присмотренная, очень дома любимая. Девочка эта постоянно болела, и мама запрещала ей ходить босиком по чисто вымытому полу в теплой комнате. И звали эту девочку, кажется, как меня. Может быть, это было сном, а может быть, в чьей-то чужой жизни что-то похожее было. Где-то опять я вышла на дорогу и сталкиваюсь с деревенским парнем. Он останавливает меня: «Небось, тебе хочется попасть к партизанам, а я сам оттуда». Жду, что дальше будет. «Я тебя могу провести, только выложи часы и золото». Часы действительно были когда-то, а золото… На протяжении всей моей жизни ни в молодости, ни позже и по сей день не имела я ни одной золотой вещички — ни кольца, ни брошечки. Могла бы иметь, да как-то не хотелось. Это никогда мне не было нужно. Парень добавил: «У ваших у всех есть золото и часы». Затем постоял, посмотрел, догадался, наконец, что с меня, как с паршивой овцы — и шерсти клок не возьмешь, повернулся и пошел. Иду и иду по пустынной глухой дороге. Опускается вечер. Навстречу мне выкатывается телега, на ней несколько вооруженных людей. Не полицейские ли, господи! Меня останавливают. Нет, не полицейские, говорят по-человечески. Шутка ли, по-человечески разговаривают. Услышав, что я накануне выбралась из гетто, ахнули от изумления: как это тебе удалось, когда накануне и мышь не могла прорваться из Минска — был убит сам гауляйтер Кубе, весь город оцепили. Только тогда я сообразила, что значили усиленные полицейские заслоны, проверка документов на улицах возле гетто и атмосфера тревоги, которой, казалось, был пропитан весь воздух. Ну и денек я выбрала для бегства из гетто! Нарочно не придумаешь. Парни на подводе сказали, явно сожалея меня: «Мы бы взяли тебя с собой, но едем на задание, нам никак нельзя». Но они указали, куда следует двигаться дальше, миновать большой мрачный лес, из которого они выехали, за лесом будет деревня Новое Село, а там дальше сам бог выведет.

И бог повел меня дальше через сумрачный лес уже глухой ночью. Вновь я вышла к деревне, безлюдной, уже спящей, погруженной во мрак. Не размышляя и не выбирая, я поднялась на крыльцо близлежащего дома. За крыльцом была верандочка под крышей и с лавкой у стены. Я постучала в дверь. Дверь приоткрыли, но в дом не впустили и дверь быстро захлопнули. Но уйти у меня не было сил. Я свалилась на лавку на веранде, крыша которой укрывала, если не от холода, то хоть от опять начавшего хлестать дождя. Лежала, вся продрогнув, сжимаясь в комок и, даже заснув, не выпускала драгоценного зонта. На рассвете меня разбудили, позвали в дом. Накормили хлебом и молоком. Дали согреться. Объяснили, что побоялись ночью впустить в помещение, по ночам бывают полицейские облавы и где-то вблизи сожгли целую деревню с людьми за то, что, пожалев, кого-то приютили. Велели идти дальше. Я опять пошла, миновала Новое Село. Было рано, деревенских жителей на улице еще не было видно. Не помню, сколько шла и оказалась перед речушкой, узенькой, но кладки нигде не виднелось, а на том берегу — опять деревенька. Поглядела я на эту речушку и решила, что смогу перейти ее вброд, благо и обуви снимать не надо — на ногах ничего нет. Завернув кверху свое рваное пальто, я полезла в воду, не выпуская зонта, и действительно воды не больше было, чем по колено. Когда перебралась к противоположному берегу, я увидела там молодую женщину, с любопытством за мной наблюдавшую. Ее, кажется, больше всего заинтересовала моя амуниция, и первый вопрос ее был: «А для чего еще зонт?». Вот объясни ей, что он значил для меня, этот зонт. Она от души смеялась. Затем сказала, что в деревне собралось много «ваших», убежавших из Минска, и я их легко смогу найти. Я действительно вскоре встретила подобных мне. Там же оказалась и Оля Лейбович, но дело было не в них. Нашелся человек, который по собственному душевному побуждению, рискуя головой, самовольно взял на себя миссию быть проводником в партизанскую зону и провести беглецов в еврейский партизанский отряд. Я не помню имени этого самоотверженного человека, не помню также в каком отряде он состоял. Знаю, что он возвращался с какого-то задания и совершенно случайно набрел на нас. По национальности он был татарин.

Днем, собрав всех вместе, он накормил нас и припрятал в ближайшей роще. Ночью мы двинулись в путь. Под утро отдыхали в какой-то деревне, где он добыл телегу, в которую усадил изнемогших от ходьбы малышей. Их вынесли из гетто и они на своих слабых детских ножках не поспевали за взрослыми. Опять шли, где-то укрывались и ночевали.

Не помню, на какой уже день, кажется на третий, я отстала от всей группы. Мои израненные ноги не держали меня. Группа скорым шагом уходила вперед, а я не поспевала за ней. Кто-то, оглянувшись и увидев меня позади, подбежал, сунул мне ломоть хлеба и бросился догонять остальных. Я опять осталась одна, одна со своим зонтом. И странно, я не почувствовала ни страха, ни сожаления. Меня никто не торопил, и я передвигалась, как могла, на своих искалеченных с кровоточащими подошвами ногах. Опять впереди оказалась речка, но более широкая и полноводная. Оба берега соединяла узенькая кладка, но когда я ступила на нее, у меня закружилась голова и я едва не свалилась в воду. Тогда, став на четверень-

ки, я, как животное, переползла ее. За рекой был лес, его пересекало несколько дорожек, и я остановилась в раздумье, не зная по какой дальше идти. Где-то впереди пробежала собака, я решила, что следует идти за нею следом. Опять навстречу выехала телега с вооруженными людьми. Меня останавливают, расспрашивают, но глядят подозрительно, явно не доверяют.

Следует здесь сказать, что фашисты последнее время распространили слухи, что евреи, убегавшие из гетто, направлялись гестаповцами в партизанские отряды с целью шпионажа и, как не дико и неправдоподобно — этим слухам кое-кто поверил. Была пущена версия гестаповцами, конечно, что ими специально из евреев создана школа шпионов. Умысел их был более чем очевиден — чтобы тех, кто избег своей гибели в гетто, уничтожало местное население и, действительно были случаи, когда несколько человек расстреляли в связи с подозрением в шпионаже. И меня расспрашивают о школе шпионов, а я не знаю, что отвечать. Не знаю, чем бы кончилась для меня это встреча, но, видимо, действительно бог вел меня в моем пути. Внезапно один из сидевших в телеге присмотрелся ко мне и воскликнул: «А ведь знаю я вас, знаю, я лечился у вас в диспансере». Сразу лица изменились, телега покатила по своему пути, а я заковыляла дольше.

Медленно-медленно передвигаюсь по прекрасному густому сосновому лесу, не знаю, куда иду, и к чему приведет меня зеленая дорожка. Вдруг слышу сзади топот копыт. Я оглядываюсь и вижу, что меня настигает два всадника, оба в мундирах, в серо-зеленой форме.

Все, конец. Мне не удалось от них уйти. Они останавливаются возле меня, и я замираю на месте. Мгновение всматриваемся друг в друга. Впереди на лошади офицер, за ним ординарец. Офицер обращается ко мне по-русски, и здесь я вижу, что форма на нем не немецкая, а на голове конфедератка. Это форма польского офицера. Офицер разговаривает со мной вежливо, и я невольно замечаю, как молодцевато он держится и как неожиданно элегантен. Наверное, только поляк в подобных условиях способен сохранить элегантность и внешний лоск. Вместе с тем, первый его вопрос был неприятен: что мне известно о школе шпионов. Что я могла на это ответить и грустно сказала ему: «Я думаю, что для подобной цели выбрали бы не такого жалкого оборванца, как я». Он поглядел на меня и от души расхохотался. После этого он заговорил со мной мягко, расспросил, кто я и что я, объяснил, какого направления мне следует держаться, и ускакал со своим ординарцем вперед.

Как-то смутно вспоминаю свой дальнейший путь. Помню, что заходила в какие-то дома, где ко мне относились с добротой и кормили меня, где-то на мои ноги натянули лапти, но вскоре я сбросила их, т.к. они еще более терли. А в одном доме пожилая женщина, поглядев на мои израненные подошвы, посадила меня на табурет и, став передо мной на колени, обмыла их в тазу с теплой водой, затем обвязала чистыми тряпками. Я не знаю имени этой женщины, не запомнила ее лица. Впрочем, какое значение имеет, как ее звали — ибо имя ее — Милосердие. Со своим зонтом я, наконец, рассталась, оставив его кому-то в благодарность. Далее ноги совсем отказали мне, и большой палец, кажется, на правой ноге распух и нагноился. Я могла только ползти. Здесь меня подобрала группа партизан. Они

также ехали на задание, но подвезли меня к расположению какого-то отряда и оставили вблизи от него, около партизанской пекарни. «Здесь тебе помогут», — сказали они и уехали.

Рядом с пекарней находился шалаш, я заползла в него. Внутри стояло решето с ржаными сухарями и здесь, кажется, впервые на всем своем пути, я почувствовала настоящий голод и с жадностью стала их грызть. Утром меня обнаружили две женщины, выпекавшие хлеб для отряда. Обе они повели себя недружелюбно, едва поглядев на меня, ничего не сказали, ни о чем не спросили, отошли в сторону, занялись своим делом и больше меня не замечали, словно бы меня вовсе не было. Их имена я узнала, когда они разговаривали между собой. Та, что была постарше, звалась Верой, и как потом я узнала, она была женой командира отряда. Вторая, совсем молоденькая белокурая девушка Маруся, помогала ей в работе. Вечером, не взглянув на меня, они ушли. На другой день пришла одна Маруся, и я поняла, что нехорошей была не она, а Вера. Маруся со всех ног бросилась ко мне и стала за мной ухаживать. Столько участия и доброты было в ее юном прелестном лице, и так трогательна была ее забота, что я, сама уже усомнившаяся в своем праве на жизнь, поверила в эти минуты, что я еще человек.

Жестокость и глумление меня больше не трогали, я принимала их как должное. Потрясти меня могли только доброта и жалость. Кто сказал, что жалость унижает человека? А еще на следующий день, когда они пришли опять вдвоем, Маруся не решилась бросить на меня ни один взгляд. Меня не замечали и не разговаривали со мной. К концу дня Вера подошла ко мне и, внимательно оглядев, с недоброй улыбкой сказала: «В ближайшее время ожидается блокада, стягиваются к пуще эсэсовские войска, мы все отсюда уйдем, что вы собираетесь делать?». Я ответила ей: «Ничего, просто я тогда погибну». И мысленно повторила слова, которые постоянно твердила себе на всем своем крестном пути: «Я делала все, что в моих силах, я делала все, что сверх моих сил и больше ничего я уже сделать не могу». Поступила Вера все же лучше, чем говорила. На другое утро ко мне пришел ее муж, командир отряда, и я поняла, что он совсем другой человек, чем она.

Он разговаривал со мной серьезно и спокойно, сказал, что оставить меня в таком беспомощном состоянии в боевом отряде не может, но позаботится обо мне. Меня отвезли в семейный еврейский отряд, расположенный в глубине Налибокской пущи[5] . Я была больна, мне было очень худо, и находилась я почти в беспамятном состоянии. Длительное время я не могла двигаться, не могла стоять, опираться на больную ногу, и можно только удивляться, что зажил прогнивший до кости палец на ноге. Были дни, когда от слабости я не открывала глаз и ожидала смерти. Но смерть миновала меня и на этот раз.

Постепенно я поправилась, жизнь моя в отряде ничем примечательным не отличалась. Когда я начала передвигаться, на меня возложили медицинские обязанности, весьма ограниченные в виду отсутствия медицинского инструмента и каких-либо лекарств. При лечении применялись два генеральных средства: деготь и самогон. Самогон годился для промывания гнойников и очистки ран, а деготь использовался для лечения коросты, которая была бичом многих партизанских отрядов. Следует сказать, что помогал он превосходно.

## В еврейском семейном партизанском отряде

Я попала в отряд осенью 1943 года, незадолго до полной ликвидации Минского гетто 21 октября 1943 г. А летом этого года весь район Налибокской пущи подвергся жестокой немецкой блокаде, многие отряды, окруженные немцами, претерпели жестокие бои, потеряли много бойцов и были рассеяны по пуще. Единственный отряд, которому по какой-то случайности удалось избежать встречи с фашистами, был еврейский семейный отряд. В нем также были бойцы, но состоял он в основном из беспомощных людей — женщин и детей. Можно не сомневаться, что при встрече с эсэсовцами в нем не уцелел бы ни один человек. Но, видимо, этим чудом спасшимся из гетто людям суждено было уцелеть, и немцы на них не наткнулись. Я попала в отряд после этой блокады. Судьба оберегла Налибокскую пущу от новой блокады, которая ожидалась и зимой 1943—1944 года, и явно готовилась весной 1944 года, чему помешало победное продвижение Советской Армии. В спокойное от блокады время фашисты близко сунуться в пущу боялись. И фактически там не было немецкой власти. Однако появился враг внутренний. Им оказались польские легионеры. Они проникли в пущу, где к ним отнеслись с доверием, и некоторое время они вели себя по отношению к партизанам как будто лояльно. Однако вскоре обнаружилось, что это были предатели, специально подготовленные фашистами для борьбы с партизанами изнутри в партизанской зоне, и они только маскировались под польских партизан. В числе их были и некоторые местные жители, хорошо знающие местность и расположение партизанских отрядов. Нападали они исподтишка на небольшие группы партизан, когда они выезжали с различными заданиями, подстерегали на дорогах, не осмеливаясь нападать на большие отряды. Пойманных партизан убивали с садистской жестокостью.

Наш отряд, уцелевший во время блокады, потерял группу молодых бойцов, попавших в когти польских легионеров[6] . Повторяю, эти лесные бандиты ничего общего не имели с настоящими польскими партизанскими отрядами. И весной 1944 г. через расположение нашего отряда прошла воинская часть Войска Польского, продвигающаяся к западу.

Как-то в разгар зимы в наш лагерь приехал молодой цыган и просил дать ему врача, чтобы принять роды у его жены. Послали меня. После нескольких часов езды по глухому лесу, мы подъехали к затаившимся в глубине его землянкам. В одну из них цыган меня завел. На лежанке, корчась от родовых схваток, лежала совсем юная цыганка. Возле нее суетилась ее молодая мать, имевшая сама грудного младенца и кучу ребятишек, сновавших взад и вперед. Землянка тускло освещалась мигающей коптилкой и, несмотря на царивший в ней полумрак, я заметила, что в ней неописуемая грязь, а у ребятишек ручонки покрыты коростой. Они непрерывно чесались. Роды у цыганки начались давно, и она очень мучилась. Вскоре в землянку битком набилось множество пожилых цыганок, окруживших роженицу и хором комментировавших все происходящее. Они давали мне различные советы, довольно быстро догадавшись, что опыта у меня в этом деле маловато, а еще точнее сказать, вовсе нет. Весь мой акушерский опыт состоял из несколь-

ких месяцев учебы в период студенчества и, не питая никакого интереса к этому предмету, я только перед экзаменами очень бегло перелистала учебник. Теперь, проклиная себя в душе, старалась вспомнить его страницы. Через некоторое время цыганочка родила, но послед ни за что не хотел выходить. Опять хор цыганок начал меня консультировать, я же, понимая, какую опасность представляет ручное вмешательство в такой грязи, оттягивала этот момент. На мое счастье и еще большее счастье роженицы послед, наконец, вышел. Все окончилось благополучно. Мать роженицы, схватив новорожденную внучку, приложила ее к своей груди и стала кормить. Перед этим она кормила собственного младенца. На другой день, когда я уезжала, молодой цыган к моему удивлению стал покрывать сани великолепными коврами. На все мои протесты он твердо возразил: «У нас так принято». Если меня впервые привезли в наш лагерь полумертвой на дребезжащей телеге, то теперь я въехала, как персидская шахиня, развалившись на роскошных коврах.

## Освобождение

3 июля 1944 г. был освобожден от фашистов Минск. Мы узнали об этом, находясь в немецком тылу. В лес стали просачиваться отступающие немецкие части, рвущиеся на запад, и одна из них напала на наш отряд. Нападение было внезапным, мужская часть отряда приняла бой с большими потерями. Были убитые, раненые и в числе их получил тяжелое ранение командир отряда. Быстро снявшись с места, наш отряд также устремился на запад, где по полученным разведывательным данным уже находились наши войска. Буквально наступая нам на пятки, следовали за нами немцы, кажется эсэсовская часть, непрерывно нас обстреливая. В одну такую минуту, когда казалось, не было уже надежды оторваться от преследователей, нам навстречу вышли бойцы Советской, тогда еще Красной Армии. Если даже сегодня, спустя столько лет, меня спросили бы, какой день я считаю самым счастливым в своей жизни, я не призадумываясь, отвечу: день встречи с Красной Армией. «И день стал днем, и свет стал светом». Затравленные, загнанные животные получили право на жизнь и человеческий облик.

Далее было возвращение в родной город, удивительно напоминавший своими руинами кладбища, где вместо могильных надгробий торчали трубы уцелевших печей, разбросанные среди развалин. Снесенные с лица земли улицы открывали необычайно широкую для обозрения панораму. Она была мрачной и горестной. Меня приютила у себя Антонина Фадеевна Лойко — врач, с которой я кончала институт и вместе работала. Человек благородный и отзывчивый, она не только кормила меня, но и приодела, а вышла я из лесу в блузе из дерюги и юбке, сшитой из крестьянского половика. Вскоре я узнала, что жив мой брат и родственники, успевшие уйти из Минска в страшный день 24 июня 1941 г. Они жили в Муроме, и я получила разрешение навестить их. Покидая развалины Минска, я твердила себе, что никогда не захочу вернуться назад и даже вспоминать этот город.

Я погостила в благополучном Муроме, где родные встретили меня с раскрытыми объятиями, где ничто не напоминало о войне, где дома стояли целыми, и весь этот в ясные летние дни городок сиял солнцем и утопал в зелени. Мои родные

предложили мне остаться у них, обещали устроить на работу, и здесь со мною произошло что-то непонятное, чего я сама не смогла себе объяснить: меня потянуло назад. Я почувствовала мучительную непреодолимую тоску по родному краю, словно какая-то сила влекла меня к скорбным развалинам родного города. И я вернулась из благополучной жизни домой, ко всем трудностям бытия в исковерканном войной городе. Моя приятельница Нюра смеясь, спрашивает меня: «Ты помнишь, что сказала тогда, вернувшись из Мурома?» — «Не помню». — Ты сказала: «Там сосны не те».

И так все возвращалось на круги своя. Город постепенно очищался от развалин, стал восстанавливаться. Начались суды над захваченными фашистскими убийцами, в ближайшем будущем маячил Нюрнбергский процесс. А я вернулась к своей скромной профессии врача в уцелевшей в годы войны больнице.

Но вот что удивительно. Казалось бы, после всего перенесенного мне следовало стать мудрее, спокойнее, равнодушнее относиться к житейским невзгодам, к ударам по самолюбию и взирать на жизнь с некоторой высоты обретенного знания. Ничего не изменилось. Увы, какой была, такой осталась. Осталась сама собою.

*Берта Маломед*

# МЕНЯ РАССТРЕЛЯЛИ 2 МАРТА 1942 ГОДА…

О том, чтобы написать воспоминания о моей прожитой жизни, меня навел на мысль мой старший внук Саша. Как-то он спросил у меня о моем родословном древе — ему хотелось об этом знать. Я задумалась. Фактически, я почти ничего не знаю, к сожалению, о моем родословном древе, как принято говорить. Но все-таки решилась написать о том, что еще помню, и о моей тяжелой судьбе, которая меня постигла. Главное для того, чтобы внуки, правнуки и следующие поколения знали, что происходило с евреями. Это все должны знать для того, чтобы никогда больше не допустить той страшной катастрофы, которая с евреями произошла. Нелегкая судьба выпала на мою долю.

## Моя семья

Я была седьмым ребенком в семье, где уже было четыре мальчика и две девочки. Само мое рождение было несчастливым. Для матери я была нежеланным ребенком. Как она сама рассказывала — она пыталась сделать аборт. Уже договорилась с врачом, уже находилась в частной клинике, уже заплатила десять золотых монет за аборт. Но отец узнал об этом, успел придти и забрать ее из клиники. Маме нравилось рассказывать, но мне, почему-то, каждый раз становилось грустно слушать об этом.

Мой папа — Фридлянд Давид Абрамович — родился в 1892 году. По тем немногим сведениям, которые мне известны, предки его — выходцы из Германии. Этим объясняется фамилия папы — Фридлянд. Родители его жили в Старых Дорогах — небольшом белорусском городке. Там же он и родился. В семье было пятеро детей — два брата и две сестры. Он был младшим. Папа происходил из интеллигентной семьи. Его отец был учителем в хедере (еврейской школе), а в те времена это было очень престижно. Мать окончила еврейскую школу. Семья была состоятельная.

В семнадцать лет папа закончил хедер и решил жить самостоятельно. Он уехал, как тогда говорили, в большой город — Минск. По приезде в Минск начал искать работу и случайно попал в кондитерскую пекарню — сначала выполнял всякие тяжелые физические работы и в то же время старался чаще бывать в цеху, где проходил процесс производства самой продукции. Присматривался, как рабо-

тают пекари, старался им чем-то помочь. Ему нравилась эта работа. Итак постепенно он втянулся в работу пекарей. Вскоре хозяин перевел его в цех. С тех пор папа стал профессиональным пекарем-кондитером.

Моя мама — Левинсон Хася Давидовна — родилась в 1894 году. Иногда она рассказывала о своих родных, но очень скупо. Родители ее жили в местечке Дукора, недалеко от Минска. В семье было десять детей, выжило семеро: три сестры и четыре брата. Мама была самая младшая. Семья была бедная, отец работал сапожником, мать занималась детьми и домом. Отец не мог прокормить семью, и дети с ранних лет начали работать. С двенадцати лет мама нянчила детей в чужих семьях. В шестнадцать — уехала в Минск в поисках работы. Судьба привела ее в ту пекарню, где уже работал мой папа. Там они и познакомились. Мама прошла тот же путь, что и папа. Сначала она выполняла любую работу — убирала, чистила, оказывала посильную помощь пекарям. Ей тоже нравилась работа пекаря и она стала присматриваться, как они работают, старалась сама научиться так работать. Она была смышленая, трудоспособная и вскоре стала помощницей у пекаря. Со временем хозяин начал доверять ей работать самостоятельно. Так она стала пекарем-кондитером. Тем временем отец и мать подружились, полюбили друг друга и через какое-то время поженились. Отцу было девятнадцать лет, а маме — семнадцать.

Через год родился мой старший брат Абрам, это был 1912 год. Мать не работала. Абраша, как мы называли старшего брата, болел. Он был болезненным ребенком. В 1915 году родилась сестра Оля. В год революции, в 1917, родилась вторая сестра Ида. В 1920 — брат Сеня, в 1923 — брат Яша. В 1925 году родился четвертый брат — Боря, в 1927 году родилась я. Все эти годы родители работали пекарями-кондитерами. Они были хорошими специалистами.

Моим родителям пришлось пережить Первую мировую войну, потом революцию 1917 года. После революции советская власть объявила НЭП (новую экономическую политику). Она заключалась в том, что было разрешено частное предпринимательство. Мои родители воспользовались этим новшеством и открыли собственную пекарню. Сначала небольшую, потом продали ее и купили большой трехэтажный дом. Первый этаж был полуподвальный, в нем они оборудовали пекарню. На втором этаже сделали магазин, где продавали кондитерские изделия. На третьем этаже были жилые комнаты. Родители много работали и, хотя у них было несколько рабочих-пекарей, но они работали вместе с ними. Эти годы были расцветом в жизни моих родителей. Мама забрала из местечка свою мать (дедушки уже не было). Родители были заняты пекарней и магазином, бабушка вела хозяйство по дому. Для детей была няня, другая женщина убирала квартиру.

Дела у моих родителей шли хорошо до тех пор, пока власть не объявила о прекращении частного предпринимательства. Вскоре начали преследовать тех, кто занимался этим. Дошла очередь и до моих родителей. На них открыли «дело» и передали в суд. Когда разбирали «дело» в суде по так называемому «частному предпринимательству с эксплуатацией рабочих», их хотели осудить. Но рабочие, которые у них работали, были свидетелями и сказали, что хозяева работали вместе с ними на равных и платили по трудовому соглашению. У них были нормальные условия для работы, зарплату платили вовремя, и претензий к хозяевам у них

нет. Может быть, поэтому их не осудили на высылку, как многих других, но в одночасье сделали нищими. Постановлением суда у них конфисковали все, что было: деньги, пекарню, магазин, квартиру вместе с имуществом. Они остались ни с чем и без средств к существованию. На всю большую семью дали трехкомнатную квартиру: две спальни по 10 кв. м, «зал», как тогда называли, 16 кв. м, без кухни и без санитарного узла. В прихожей стояла большая русская печь. Туалет, сколоченный из досок, и колонка для воды были во дворе. Воду нужно было качать руками. Зимой вода в колонке замерзала, утром нужно было ее разогревать, а ночью вода опять замерзала.

Мои родители были «лишенцами». Так называли тех, кого власть лишила всего — работы, дома и всего имущества. В паспорт «лишенцев» ставили специальную печать, это было клеймом. Их не принимали на работу по специальности. Положение в семье было очень тяжелым. Бабушка уехала обратно в Дукору, там жила старшая сестра моей мамы. Бабушка хотела, чтобы было одним ртом у родителей меньше. Единственное место, где им можно было работать — это убирать улицы и туалеты. Отцу удалось устроиться продавать мороженое в киоске от какой-то столовой. Через некоторое время он перешел на работу в эту же столовую помощником повара. Мама тоже устроилась в другую столовую посудомойкой. Она везде умела проявить себя в работе. Вскоре и она стала помощником повара. Родители начали зарабатывать побольше. Они уже могли прокормить семью, но денег больше ни на что не хватало.

Старший брат Абраша окончил еврейскую начальную школу, затем десять классов общеобразовательной школы. Он стремился учиться дальше, но из-за «позорного прошлого» родителей его не принимали в институт. В то время в институтах существовали рабфаки — рабочие факультеты. Для поступления на рабфак необходимо было иметь стаж работы не менее двух лет. Для Абраши это была единственная возможность поступить в институт, и он пошел на завод работать учеником слесаря. После двух лет работы он успешно сдал экзамены и поступил на рабфак в Политехнический институт. Этот институт был далеко от нашего дома и Абраша ходил пешком на занятия, потому что не было денег на трамвай.

В 1937 году, когда Абраша учился на 4-м курсе, его исключили из института из-за двоюродного брата. У старшего брата нашего папы было три сына и одна дочь. Средний сын Давид учился вместе с Абрашей на рабфаке. Старшего сына Соломона в 1937 году арестовали за «антисоветскую деятельность». Этот «политический преступник» Соломон работал бухгалтером. Как-то он сильно простудился и вызвал врача домой. Пришел врач, поставил ему градусник, а сам взял с полки первую попавшуюся книгу. Оказалось, что книги этого автора были запрещены. Врач положил книгу на место, посмотрел температуру, выписал лекарство, бюллетень и ушел. А через несколько дней Соломона арестовали. Вскоре был суд, его осудили на 10 лет тюрьмы за «антисоветскую деятельность». Через короткое время арестовали мужа его сестры — Моисея. Он был портным, никакой литературой не интересовался, ни во что не вникал, но и его осудили. А Давида и Абрашу исключили из института. Все знали, что они не только однофамильцы, но и двоюродные братья.

В 1939 году Абрашу восстановили в институте, и в 1940 году он его закончил. Его направили на работу в город Брест. Там он успел поработать только полгода. В начале 1941 года Абраша приехал домой, привез свои вещи и сказал, что его призвали в армию. После окончания института ему присвоили звание младшего лейтенанта, и в этом звании он служил.

Когда Абраша приехал в Брест на работу, он снял комнату в квартире, где жила пожилая пара — муж с женой. Они были евреи. По документам, они знали, что Абраша — еврей, но разговаривали с ним по-русски, а между собой — на идиш.

Абраша остался у них в понедельник, а в четверг он услышал, что они разговаривают на иврите о том, что в пятницу его надо будет предупредить, что в субботу они не зажигают огонь, и что ему придется кушать в столовой. Абраша решил сказать им, что он все понимает, чтобы не ставить их в неловкое положение. Когда он подошел к ним и сказал на иврите, что не будет в субботу зажигать огонь, они так растерялись, что не могли произнести и слова. Когда же они пришли в себя, хозяйка сказала: «Сыночек, ты же из теперешних, откуда ты знаешь лошнкойдеш?». Старые евреи так называли иврит. Абраша объяснил, что он учился в хедере. С тех пор он стал членом их семьи. Они не хотели брать у него деньги за квартиру, но он им пригрозил, что уйдет от них. Он рассказывал нам об этом, когда привез свои вещи. Они очень переживали, когда Абрашу забрали в армию.

Абраша прислал письмо, что находится в городе Бресте и строит то, что необходимо. За месяц до начала войны он передал письмо с товарищем, который приехал на короткое время в Минск. Брат писал, что строит военные укрепления. Его товарищ рассказал, что они находятся в старинной Брестской крепости. Когда началась война, Абраша был там. С тех пор больше мы о нем ничего не знали. Абраша не был женат.

Старшая сестра Оля была всеобщей нашей любимицей. В ней сочеталось все: она была умная, добрая, о такой говорят — «добрейшая душа». Она была высокая, красивая. Оля рано вышла замуж, сразу же после окончания школы, когда ей еще не было восемнадцати лет. Наверное, повлияло и то, что в семье было тяжелое материальное положение. Муж был на 8 лет старше ее, его звали Хоня, фамилия Шапиро, он был инженером. Жили они дружно. Хоня был хорошим семьянином, очень любил Олю и детей. У них их было четверо: три девочки и один мальчик. Старшая девочка Галя была младше меня на пять лет. После нее был мальчик Наум, ему было шесть лет. Девочке Софе было три года и самая младшая — десятимесячная Роза. В таком возрасте дети были, когда началась война.

О том, как мы любили Олю, даже трудно описать. Она была для нас, как настоящая мама. Когда мы шли домой, сначала заходили к Оле. Она всегда была в курсе всей нашей жизни, всех наших дел. Обо всем ей рассказывали, и она всегда внимательно выслушивала, хотя была очень занята — все-таки четверо детей... Она интересовалась нашими делами, нашей учебой, всей нашей жизнью. После школы я шла к Оле, и она не отпускала домой, пока я у нее не поем. Часто я оставалась у нее до конца дня, там и уроки делала. Квартира у них была небольшая, но там всегда был порядок и чистота, дети ухожены. Не было случая, чтобы Оля когда-нибудь злилась на детей, повышала на них голос, не говоря о том, чтобы

кричать. Для каждого ребенка находила нужные слова. Она с детства очень любила читать книги. Времени на чтение книг у нее не хватало, и она читала по ночам. Оля очень любила юмор. Бывало, вдруг начинала хохотать, когда вспоминала о чем-нибудь смешном прочитанном или услышанном.

Младшая сестра после Оли, Ида, тоже была добрая, с мягким характером, улыбчивая. Не помню, чтобы она когда-нибудь злилась. После седьмого класса Ида поступила в медицинское училище, там она получила квалификацию лаборанта. Она работала в лаборатории микробиологического института, которой руководил кандидат медицинских наук Зибецикер Давид. Я пишу об этом человеке, потому что судьба свела нас с ним в самый тяжелый период жизни. Ида работала и готовилась поступить в медицинский институт. Зибецикер поощрял ее в этом. В 1938 году Ида добилась своей цели и поступила в медицинский институт.

Она дружила с парнем, его звали Зяма Эйдельман. Его родители жили в Жлобине, где он родился в 1916 году. Зяма был студентом Политехнического института и учился на последнем курсе. В 1939 году он окончил институт, и они поженились. Жили молодожены в нашей семье, в маленькой комнате. В 1940 году у них родился сын Мишенька. Это была хорошая, дружная семья.

После Иды был брат Соломон, в семье его звали Сеня. Он окончил семь классов и решительно заявил, что хочет работать, а учебу будет продолжать в вечерней школе. Причем, ему нравилась профессия наших родителей — он хотел быть кондитером.

Папа очень переживал, что Сеня не продолжает учебу в дневной школе. Он уговаривал его, чтобы он учился, но Сеня был непоколебим. В то время в пекарнях были большие кирпичные печи, и восемь часов нужно было выстоять у такой раскаленной печи. Но Сеня все равно твердил, что он хочет быть кондитером, и сказал, что если папа не возьмет его в пекарню, где он работает (папа тогда уже был заведующий пекарней), он пойдет в другую. И папа взял его к себе. Сеня начал с того, с чего начинали все пекари — рабочим, но постепенно учился работать кондитером и продолжал учиться в вечерней школе. Работа пришлась ему по душе и вскоре он стал пекарем-кондитером.

Сеня очень любил книги, и чтение их было его самым любимым занятием. Когда он учился в дневной школе, он был знаком с девушкой, которая училась там же, на один класс младше его. Эту девушку звали Хая Пучинская, но все ее звали Рая. (Еврейские имена в бывшем Советском Союзе были не в моде). Когда Рая училась еще в десятом классе, Сеня начал встречаться с ней.

В 1939 году Рая окончила школу, ей только исполнилось восемнадцать лет, Сене — девятнадцать. Сеня объявил, что женится. Папа очень переживал, он был против того, чтобы в таком возрасте сын женился. Ведь Сеня еще должен был идти в армию, но он настоял на своем, и они поженились.

Рая была симпатичная девушка с мягким характером. Она вошла в нашу семью родным человеком. У родителей Раи был свой большой дом с большим приусадебным участком, корова. В семье, кроме Раи, было еще три дочери и один сын. Две старшие дочери были замужем, младшая училась в седьмом классе. Сын накануне войны закончил школу.

Рае и Сене выделили комнату в этом доме. Они любили друг друга и жили дружно. Они приходили к нам почти каждый день. Сене предстояло идти в армию. Через шесть месяцев, в 1939 году, его забрали в армию. После этого Рая была больше у нас, чем у своих родителей. В нашей семье ее любили. Она работала бухгалтером и готовилась поступить в институт народного хозяйства на финансовое отделение. Сеня служил в Ленинграде, и в 1941 году Рая собиралась ехать к нему. Был уже куплен билет на поезд на двадцать пятое июня. Так у нее и остался этот билет.

После Сени по возрасту был Яша. В семье его называли «наш математик». Больше всего он любил математику. В школе учителя говорили, что у Яши исключительные способности к математике. Из-за этого ему многое прощалось, хотя и бывали неприятности. Например, на уроках по другим предметам он решал задачи по математике. Часто учителя у него отнимали тетради, в которых он решал задачи, после уроков их ему возвращали. В тетрадях по литературе и другим предметам на последних страницах были задачи по математике. И сколько с ним ни говорили, чтоб он этого не делал, ничего не помогало. Он говорил, что ему скучно на уроках, а задачи решать интересно. По другим предметам у него были тоже высокие оценки. Яша мечтал поступить в университет на математический факультет. Но после окончания школы в 1940 году его забрали в армию на специальные курсы в танковые войска. Он окончил их перед самой войной и получил звание младшего лейтенанта. Когда началась война, Яша был в Западной Белоруссии в городе Волковыске.

Самый младший брат Боря был старше меня на два года. До войны он окончил девять классов, хорошо учился и мечтал стать инженером-строителем. Абраша был для него примером для подражания. В нашей семье все учились с желанием, и результаты были отличные. Исключением был Сеня. Хотя он хорошо учился, но продолжать учебу не хотел. Конечно, повлияло то, что он рано женился.

Я была в семье самой младшей. Мое детство пришлось на тяжелые годы жизни моих родителей. И это отразилось на моем детстве. Я была лишена элементарных детских радостей.

Помню себя с того возраста, когда ходила в детский сад. Я любила детский сад, там было много игрушек, кукол. Мне нравилось слушать сказки, которые нам читали, нравилось рисовать. Помню, нам давали цветные карандаши и бумагу, и мы рисовали. Дома у меня игрушек не было. В то время у моих родителей на это не было денег. Первую куклу, которая у меня появилась, мне подарила моя тетя, сестра моей мамы. Ее звали Фейге-Лея. Эта кукла была у меня единственной. Хотя она была далека от современных кукол — руки и ноги у нее были нарисованные, но я все равно ее любила и очень берегла. Вторая кукла у меня появилась, когда я была уже школьницей. Я сама ее заработала. Папа повел меня на новогоднюю елку от его работы. И я там танцевала танец «Лезгинку». За этот танец я получила приз — куклу. Эти две куклы мне запомнились на всю жизнь, потому что других у меня не было.

Еще с детского сада я любила танцевать. В школе был кружок танцев и я посещала его, выступала на школьных концертах. Еще я пела в детской городской

капелле. Как-то пришли в школу учителя из музыкальной школы. Они отбирали детей в детскую городскую капеллу, так я попала в этот хор.

В нашей семье больше всего любили книги. Чтение книг было излюбленным занятием всей нашей семьи. Папа приходил с работы усталый, но все равно читал. Так и засыпал с книгой в руках. Мы жили очень скромно, из мебели было только необходимое, но книг в доме всегда было много. В комнате, где я спала с родителями, за дверью была ниша. Абраша соорудил там полки для книг, от пола до потолка. Полок было много, и все они были заполнены книгами. Кроме того, все были записаны в библиотеках. Помню, когда я еще не умела читать, мне было завидно, что все читают. Я тоже хотела читать, брала любую книгу и садилась «читать» — водила пальцем по строчкам, доходила до конца страницы, переворачивала ее и «читала» дальше.

О моей маме мне тяжело вспоминать. Принято считать, что еврейская мама — это эталон преданности и любви к своим детям. К великому сожалению, я не могу сказать это о своей маме. Она была своеобразным человеком. Я любила ее, тянулась к ней всей душой, но мама к своим детям относилась хладнокровно. Она была трудоспособной, умела работать, но не была предрасположена заниматься воспитанием детей или вникать в жизнь их и дела. Ее это не интересовало. Мама не привыкла заниматься домашними делами.

Тщетно я пыталась вспомнить, когда мама относилась ко мне с вниманием и теплотой. Не могу вспомнить по той простой причине, что этого не было. Я завидовала девочкам-подружкам, когда видела, что мамы уделяли им внимание. Хорошо, если детство складывается из приятных и радостных воспоминаний. Это во многом зависит от мамы. Именно она несет главную ответственность за детей. Именно в детстве ребенок должен чувствовать материнскую любовь и заботу, чтобы он не чувствовал себя обездоленным. Это ощущение остается на всю жизнь. Я всю жизнь тосковала по материнской ласке, даже когда сама уже стала мамой.

Мама никогда не наказывала детей, не кричала на них. Что бы дети ни сделали, как бы себя они не вели, она к этому относилась безразлично. У нас не принято было отмечать дни рождения детей. На всю жизнь у меня осталось безразличное отношение к моему дню рождения, и у меня никогда не было желания отмечать этот день. Лучшие воспоминания моего детства связаны с папой, братьями и сестрами.

Мой папа всегда много работал. Самые радостные для меня дни были воскресные, когда папа, чаще всего, не ходил на работу. Но это было не всегда, потому что пекарня работала ежедневно. В тот день, когда папа не ходил на работу, он спал позже и, как только мама вставала, я бежала к папе в кровать и ложилась возле него. Это лучшие воспоминания моего детства. Я тихонько обнимала папу, чтобы не разбудить его. Я понимала, что он много работает, ему надо отдохнуть, хотя мне очень хотелось, чтобы он уже проснулся. Папа знал, что я возле него, и просыпался раньше, хотя мог бы еще поспать. Сначала спрашивал о моей учебе, потом о других моих занятиях. После этого он рассказывал мне много интересного о еврейских писателях, о книгах, об истории еврейского народа. Когда я училась уже в седьмом классе, он говорил со мной о моем будущем, говорил, что я способная к

учебе, сообразительная и характером подхожу к той профессии, которую он считал для меня самой подходящей. Папа говорил, что мечтает, чтоб я была юристом, а точнее, адвокатом, что я подхожу для такой работы, связанной с защитой людей. Он говорил, что я «мижинке», на идиш это означает самая младшая, и он должен довести меня до цели. Еще он говорил, что должен жить для того, чтобы его мечта исполнилась. Папа рассказал, что мое настоящее имя — Батшева. Когда я родилась, он пошел в синагогу, чтобы дать мне имя. Там сказали, что меня надо назвать этим именем, потому что я седьмой ребенок, к тому же дочь. А Батшева на иврите значит «Седьмая дочь». В синагоге так и записали в регистрационной книге. Потом папа пошел в ЗАГС, чтобы сделать мне метрику с именем Батшева. Там взяли каталог имен, чтобы найти это имя, но в каталоге его не было. Тогда работники ЗАГСа нашли имя Берта и сказали, что это имя похожее, и записали в метрику Берта. Папа говорил, что настоящее мое имя то, что записано в синагоге.

Он относился ко мне очень внимательно, знал, что я любила мороженое и, когда рано уходил на работу, а я еще спала, клал рядом с моей подушкой деньги на мороженое. Папа иногда ходил пить пиво, оно продавалось в больших деревянных бочках. В том же магазине продавали газированный напиток «Крюшон». Папа знал, что я люблю этот напиток, он брал меня с собой в магазин, себе покупал пиво, а мне — «Крюшон». Кажется, все это мелочи, а мне дорого все, что связано с папой. Я очень любила его и он меня также, я это чувствовала. Ведь совсем немного лет мне довелось иметь папу. Это было самое счастливое время моего детства, когда у меня еще был папа, еще жива была моя семья.

После того, как лишили работы и всего остального, чем они владели, от тяжелых переживаний папа заболел. У него образовалась язва желудка. Периодически болезнь обострялась, и так он мучился несколько лет. Болезнь его изнуряла, чем дальше, тем больше обострялась. Лечения фактически не было, только диета, но это мало помогало. Он очень похудел, дошло до того, что весил 55 кг при росте в 172 см. Он уже не мог работать. Врачи пришли к заключению, что необходима операция, но благоприятный исход ее они не гарантировали. Папа был такой исхудавший, что врачи даже опасались делать операцию. В нашей семье все переживали за папу, мне запомнились подробности того, что происходило. Мне шел двенадцатый год.

В то время в Минске был профессор Корчиц. Врачи сказали, что только он может сделать такую операцию. Мама с Абрашей и Олей пошли к нему, упрашивали, умоляли спасти папу. Профессор сказал, что делать операцию рискованно — организм истощенный, может не выдержать. Как он выразился: «Кожи не хватит, чтобы зашить рану». Они ответили, чтобы у кого-нибудь из них взяли кожу.

Много времени прошло и папа окреп. Несмотря на тяготы жизни, у нас была дружная семья. Воспитанием младших у нас в семье занимались старшие. Дома нас младших — меня, Борю и Яшу — опекал Абраша, пока он не уехал на работу. Абраша никогда не повышал на нас голос. Если ему нужно было от нас чего-то добиться, он это делал с юмором, придумывал такое, от чего невозможно было отвертеться. Примером может служить его выдумка, связанная с проблемой, чтобы вовремя мы ложились спать.

В то время радио работало до двенадцати часов ночи, а в завершение, ровно в двенадцать, играл «Интернационал». Радиорепродуктор, в виде большой черной тарелки, висел на стене.

Яша, Боря и я, которая всегда делала то, что и они — вечером читали книги, и, не обращая внимания на время, зачитывались допоздна. Папа ложился рано спать, так как очень рано уходил на работу, и поэтому не мог уследить за нами. Когда Абраша вечером был дома, он выключал свет, и никто не смел ему возражать. Спорить с ним было бесполезно, и все мы понуро шли спать. Однажды Абраша пришел домой в двенадцать часов, а Яша, Боря и я, конечно, возле них, лежали и читали. А в это время по радио играл «Интернационал». Абраша сделал такое выражение лица, будто случилось что-то ужасное и говорит: «Играют «Интернационал», а вы лежите, разве вы не знаете, что, когда звучит «Интернационал», его нужно слушать стоя? Быстро всем встать». И сбросил с нас одеяла. Пришлось всем встать, при этом он показывал, как нужно стоять «смирно». Сам стоял вытянувшись, глядя на репродуктор, как на икону. Когда закончился «Интернационал», Абраша велел всем лечь спать и добавил, что каждый раз, когда не будем ложиться вовремя спать, будем слушать «Интернационал», стоя «смирно». Пару вечеров мы вовремя шли спать, Абраша никуда не уходил и мы задолго до «Интернационала» укладывались в постель.

Как-то вечером Абраша собрался уходить, сказав, что придет поздно, и предупредил нас, чтобы мы легли спать вовремя. Мы улеглись с книгами и с удовольствием читали, не глядя на часы. Абраша вернулся около двенадцати и как только мы услышали, что он открывает дверь, спрятали книги под одеяла и притворились, будто спим. Я не успела убежать к себе в кровать. Абраша, конечно, все понял. Подошел к нам, поднял одеяла, увидел книги и включил радио. Велел всем подняться и приготовиться слушать «Интернационал». Когда заиграла музыка, мы уже стояли навытяжку. Радио замолчало и Абраша сказал: «Так слушать радио вам было неинтересно. К следующему разу выучите наизусть полный текст «Интернационала», будете петь». Яша с Борей заныли, что не успеем выучить такой большой текст до завтра. Абраша ответил: «Я же не сказал до завтра, я сказал к следующему разу, когда вы не ляжете вовремя спать». Полный текст «Интернационала» был напечатан во всех школьных тетрадях на последней странице. Мы на всю жизнь возненавидели этот гимн. Когда Абраша уезжал на работу, мы выключали радио, когда играл «Интернационал». Однажды папа увидел, как мы стоим навытяжку, а Абраша впереди нас, он спросил: «Что происходит?». Абраша приложил палец к губам и показал на радио. Папа закрыл рот рукой и вышел из комнаты.

О том, как Абраша нас воспитывал, стало известно Оле. Иначе и быть не могло. Я была у Оли, когда туда пришел Абраша, и она спросила, как он до этого додумался. Он ответил: «Надо же их воспитывать, тем более получается двойная польза — воспитание патриотизма и дисциплины». Оля была в восторге и от души хохотала.

Абраша не любил советскую власть и все, что было связано с нею. Для этого у него были основания. По прошествии времени, я поняла, что Абраша хотел привить и нам эту нелюбовь. Когда я через годы сказала об этом Сене, он подтвердил

мои слова. Сеня уже был в то время взрослый, и Абраша делился с ним своим настроениями и мыслями.

Я росла с мальчиками, и подражая им во всем, делала то, что и они. А они таскали меня всюду за собой: на речку купаться, на стадион смотреть футбол, учили кататься на велосипеде — он был у нас один на всех. Велосипед был с рамой, а я не доставала ногами до педалей. Тогда я ставила ноги между рамой и так, стоя, каталась. Была тогда излюбленная игра в лапту. Деревянными лопатками-самоделками бросали друг другу небольшой мячик, похожий на теннисный. Играли командами. Яша и Боря брали меня в свою команду, хотя там были только мальчики. Про одного мальчика следует вспомнить, он достоин этого. Он был, приблизительно, ровесником Яши и жил в соседнем дворе. Его звали Дмитрий. Он жил с матерью, отца у него не было. Мама звала его не Митя, а Митюша. На нашей улице все его так и называли. Этот мальчик дружил только с еврейскими ребятами. Он разговаривал на идиш не хуже нас. Еврейские дети даже не обращались к нему по-русски. Причем, его имя произносили на идиш — Митюше. Когда его мама искала, она спрашивала только у еврейских ребят. Митюша был вхож в каждый еврейский дом, его там принимали как своего. Его мама знала, что он не голоден, потому что Митюша всегда был накормлен. На нашей улице была синагога, в ней, в основном, молились пожилые евреи. Самое смешное было, что когда не хватало мужчины для полного миньяна, то звали Митюшу. Он надевал головной убор и шел в синагогу. Хотя все знали, что он не еврей, евреи к нему обращались на равных. За несколько дней до начала войны его забрали в армию. Больше мы о нем ничего не знали.

Зимой мы были заняты учебой, у каждого были еще и другие занятия, но все равно после всех дел мы были вместе и придумывали разные развлечения. Когда Сеня еще был не женат, он активно участвовал в наших развлечениях, придумывал идеи. Ходил с нами на футбол, часто устраивал с нами «цирк». Под его руководством мы делали «мертвые номера», как мы их называли. Яша и Боря ложились на пол, ногами друг к другу, сгибали колени, а я делала «мостик». Ногами становилась на одни колени, Сеня меня поддерживал, перегибалась через спину и руками становилась на другие колени. Был у нас еще один «мертвый номер». Яша становился на четвереньки, Боря становился ему на спину в полный рост, а меня Сеня поднимал на плечи Боре, Сеня меня подстраховывал сзади. Потом он заходил спереди и когда кричал «Ап!», я сгибала колени и прыгала вниз, Сеня меня подхватывал. После исполнения «мертвых номеров» Сеня аплодировал и хвалил нас. Когда мы устраивали «цирк», папа боялся, что они меня искалечат. А мне нравилось делать то, что они мне говорили. Я никогда не боялась, Боря меня любил, и я любила его. Мы везде были вместе. Боря говорил мне: «Если тебя кто-нибудь обидит, ты скажи мне». Мой «защитник» был на два года старше меня.

Подружек у меня было немного, я им уделяла мало времени. Больше привлекали меня дома мои мальчики, с ними мне было интересно. Кроме того, я занималась в разных кружках. У нас в семье к учебе относились серьезно. Никому не надо было напоминать делать уроки. На первом плане у нас были уроки, потом все остальное.

Когда я пошла в школу, были еще нулевые классы, то есть после нулевого класса я пошла в первый класс. Три года я училась в еврейской школе. Потом советская власть закрыла еврейские школы и всех детей перевели в белорусскую школу. Первое время нам тяжело было привыкнуть к новым условиям. В еврейской школе все предметы, кроме русского и белорусского, преподавали на идиш. Белорусская школа ничем не отличалась от русской — все предметы преподавали на русском языке, а белорусский язык был как самостоятельный предмет.

Моим любимым предметом была русская литература. Возможно, этому способствовала учительница, которая преподавала русский язык и литературу. Ее звали Елена Павловна Берлина. Ее принадлежность к еврейству выдавала только фамилия. Это была учительница по призванию. Каждый ее урок был настолько интересным, что не хотелось, чтобы он кончался. Даже самые отъявленные непоседы и те сидели, как завороженные, так увлекательно она преподавала. Елена Павловна никогда голос не повышала, но на ее уроках была абсолютная тишина, мы все ее любили. К великому сожалению, судьба у нее сложилась трагически, о чем напишу в дальнейшем.

Была у нас еще одна учительница, которую мы любили, Ида Львовна Гельфанд. Она преподавала математику и была учительницей по призванию. Она сожалела, что я любила литературу больше, чем математику. Мне нравилось учиться, и учителя были мною довольны. У меня были почти все «пятерки», за исключением белорусского языка и черчения, по ним были «четверки». Эти предметы я не любила. Недолго мне довелось учиться, к великому моему сожалению. В этой школе до войны я окончила семь классов.

На этом закончилось мое счастливое детство. Я все же называю его счастливым, потому что тогда еще жива была вся моя семья.

## Война

Тяжелая судьба выпала на мою долю. Так сложилась дальнейшая моя судьба, что юности у меня не было. Из детства мне пришлось перешагнуть в суровую взрослую жизнь. Немало испытаний пришлось перенести, будучи еще почти ребенком. Наступила самая ужасная пора моей жизни — война. Любая война бывает страшной, но та война была для евреев катастрофической.

22 июня 1941 года началась Отечественная война. К этому времени трое из четырех моих братьев находились в армии — Абраша служил в Бресте, Сеня — в Ленинграде, Яша — в Западной Белоруссии в городе Волковыске. Боря окончил девять классов. Оля и Ида были со своими семьями, их мужья работали. Папа был здоров, работал заведующим пекарней. Мама каждое лето уезжала работать в пионерский лагерь шеф-поваром. Меня и Галю, старшую дочь моей сестры Оли, мама брала с собой в лагерь. Она уже три года подряд работала в одном и том же пионерском лагере, в котором начальником был Лапидус Израэль. Я пишу о нем, потому что в дальнейшем нас постигла одна участь.

В то злосчастное лето, в начале июня 1941 года, мама, Галя и я опять поехали в тот же пионерский лагерь. Лагерь находился в 25 километрах от Минска, по Могилевскому шоссе в деревне Апчак.

В день начала войны и в ту же ночь немцы уже бомбили Минск. Город был охвачен пламенем пожаров так сильно, что зарево от них видно было на большом расстоянии. 22 июня наша семья бежала из Минска и пришла к нам в лагерь: папа с Борей, сестры с детьми и мужьями. Они были измученные — всю ночь шли, детей несли на себе. Они рассказали, что город все время бомбили, толпы людей бегут из Минска. Папа сказал, что нужно идти к железнодорожной станции и попытаться уехать на Восток. Но было уже поздно. Немцы уже были далеко впереди. В лагере были небольшие домики для обслуживающего персонала и в одном из них жила мама. Туда же поместилась наша семья. На следующий день стали прибывать люди из Минска, у которых в лагере были дети. Они рассказывали, что Минск весь в огне, а на шоссе видели немецкие танки. Семья Лапидуса тоже была в лагере.

Зарево из Минска становилось с каждым днем все меньше. 27 июня рано утром все ушли в Минск, в том числе и наша семья. Никто не хотел возвращаться в город, но другого выхода не было. Когда вышли на шоссе, увидели, как по направлению к городу, идет лавина гитлеровцев.

Двигались танки, артиллерия, машины. На танках и машинах сидели немцы с самодовольными физиономиями, с засученными рукавами. Одни играли на губных гармошках, другие горланили песни. Казалось, этой лавине не будет конца. Жутко и больно было смотреть на эту силу, на эту мощь. Такими я впервые увидела немцев. А по обочинам шоссе обратно в Минск тащились те, кому не удалось эвакуироваться. Много было детей, их везли в колясках, несли на себе измученные люди. Они брели медленно, с остановками.

Поздно вечером наша семья пришла в Минск. Мы все собрались в нашей маленькой квартире. Оля со своей семьей не вернулась в свою квартиру. Папа сказал, что в беде семья должна быть вместе.

Минск был весь в развалинах и пожарищах. Он был разрушен и сожжен больше чем на 60%. Из больших домов и строений остались считанные здания. Торчали остовы кирпичных домов и пепелища. Из магазинов, которые остались целы, население уносило все, что там было. То же самое было со складами и базами, где что-то еще оставалось.

Пришла соседка, стала ругать родителей, что они не идут брать продукты, ведь нечего есть. Папа, Хоня и Зяма пошли в магазины. Через какое-то время они вернулись и принесли мешок манной крупы. Потом папа с мамой пекли из этой крупы лепешки. За несколько дней население разобрало все, что было в магазинах. На нашей улице была скорняжная фабрика, откуда население растащило все, что там было, а также мех, натуральный и искусственный. Наши мужчины тоже пошли и притащили разные куски меха. Через некоторое время меняли его на продукты.

Немцы вошли в Минск на шестой день войны. На автомашинах были установлены громкоговорители. Из них разносились выкрики: «Juden kaputt! Juden kaputt!». Каждый день узнавали: кого-то застрелили, кого-то повесили. Фашисты вводили в городе свой «новый порядок». Дети не выходили на улицу, им даже не надо было объяснять — они все понимали. Взрослые тоже старались, как можно реже выходить на улицу — это было опасно для жизни. Любой немец или полицай могли застрелить прямо на месте. Многие из местного населения пошли слу-

жить в полицию. Им выдали форму, черные кители с белыми повязками на рукаве и оружие. Они назывались «полицаи». Немцы по внешности не могли определить, кто еврей, зато полицаи хорошо разбирались в этом. Они активно помогали немцам разобраться в этом.

Один за другим вывешивались приказы и распоряжения. 16 июля по всему городу был развешен приказ о том, что все трудоспособные мужчины города должны явиться с документами, подтверждающими профессию для регистрации, чтобы в дальнейшем получить работу. Было подчеркнуто — «все мужчины города», а национальность не была указана. Поэтому никто и не заподозрил, что это провокация. И многие мужчины пошли по указанному адресу, в том числе и Хоня с Зямой. Потом оказалось, что только евреев оставили, а всех остальных отпустили. В Минске была улица Широкая. Там был пустырь, и туда привели этих евреев, продержали их там два дня под палящим солнцем, без воды и пищи, в окружении охраны. Родные приходили туда, но никого не подпускали к ним. Потом их вывезли в пригород Минска — Тучинку, где были заготовлены большие ямы, и там их расстреляли.

Таким образом, гитлеровцы с первых дней оккупации уничтожили молодых, здоровых мужчин, которые могли воевать с ними. Когда погиб муж моей старшей сестры Оли, она решила уехать к его родителям. Они жили в местечке Смолевичи Минского района. Папа согласился с решением Оли. Надеялись, что там будет спокойней и безопасней. Кроме того, у родителей Хони было хозяйство, поэтому не будет большой проблемы с продуктами. До того, как гитлеровцы создали гетто, еще можно было переехать из Минска в другое место. Родители Хони договорились с соседом, у которого была лошадь, и он приехал с подводой и повез Олю с детьми в Смолевичи. Тогда мы даже не могли предположить, что простились с ними навсегда. Через месяц их уничтожили.

В городе были развешены приказы, запрещающие евреям ходить по тротуарам, здороваться или разговаривать с не евреями. Если по улице идет немец — снимать головной убор и кланяться ему. За невыполнение приказа — расстрел. Следующий приказ был о том, что евреям ходить по улицам разрешалось только с наступлением рассвета и до наступления сумерек. Было распоряжение о том, что все евреи были обязаны носить на спине и груди желтые латы размером десять сантиметров в диаметре. Все приказы и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение — расстрел!». Это были не только слова, но и действия. Расстреливали по поводу и без повода.

## В гетто

20 июля 1941 года по всему городу был развешен приказ коменданта города о том, что все евреи обязаны переселиться в гетто. Были перечислены улицы, которые вошли в район гетто: Республиканская, Немига, Старомясницкая, Заславская, где была наша квартира, Колхозная, Школьная, Обувная, Ратомская, Сухая. А так же Шорная, Танковая, Флакса, Опанского, Шпалерная, Крымская, Зеленый переулок, Юбилейная площадь и другие. На этой площади был двухэтажный небольшой дом, где располагался юденрат — управление гетто.

Район гетто был огорожен высоким забором из колючей проволоки. Выход и вход был только в одном месте. Там же были ворота, охрана из немцев и полицаев. На воротах висел большой плакат: «За попытку к бегству — расстрел!». В этом районе были одноэтажные, редко двухэтажные, в основном деревянные дома. Не евреи, которые жили в районе гетто, переселялись со всем своим имуществом в квартиры, которые оставляли евреи. Все, что было в квартирах евреев, переходило в пользование не евреев. Евреям можно было взять с собой в гетто двадцать килограмм на человека. Полагалось на взрослого полтора квадратных метра, дети не учитывались.

Когда началось переселение, в район гетто двигался людской поток с детьми и небогатым скарбом. По сторонам стояли не евреи и смотрели на эту трагедию. Они по-разному реагировали на это зрелище. Переселение закончилось 31 июля. Те, кто прибыли в гетто из других районов города, селились семьями в любую квартиру, которая была пустая, или где жили постоянные жильцы этих квартир. В одну квартиру вселялись несколько семей, на тесноту не обращали внимания. К нам в квартиру вселилась пожилая пара. Ему было семьдесят пять лет, ей — семьдесят. Он был высокий, худой, она была невысокая, полная, еще не успела исхудать. Он все время, с утра до вечера стоял у окна, которое выходило в сторону востока, и молился.

При создании гетто распалось много смешанных семей. Кто хотел, тот мог спасти жену или мужа, могли увезти в деревню, и были такие, которые спасали, но их было мало. В нашу квартиру вселился еще один мужчина, лет сорока пяти, Бродский — солист Белорусского театра оперы и балета. Жена у него была русская, певица того же театра. Она осталась в русском районе, а он ушел в гетто. Первое время она приходила к проволоке и передавала ему еду. Потом стала приходить все реже. В квартире была большая «русская» печь. Бродский все время сидел на печи, там же и спал. Через короткое время он совсем сник.

Самая большая трагедия — это дети. Весь ужас безвыходного положения евреев отражался на них. Все лишения и беды дети переносили молча. Не слышно было детского плача. Они сидели притихшие, им не надо было ничего объяснять. Они все понимали, даже кушать не просили. Понимали, что если будет еда — им дадут. Люди голодали, но последний кусок отдавали детям. На детей невозможно было смотреть. Они были похожи на маленьких мудрых старичков с печальными глазами. Когда с улицы доносились стрельба и крики, дети прижимались к взрослым. Ужаснее всего было то, что взрослые не могли их защитить, не могли им ничем помочь.

Когда начиналась облава, папу и Борю мы не выпускали на улицу — боялись, чтобы они не попались. Во время первых облав гитлеровцы в дом не заходили. Но позже, когда на улицах людей стало меньше, гитлеровцы стали хватать людей из домов.

14 августа днем все были дома, и вдруг с улицы стала слышна стрельба и крики. Мы не успели выглянуть в окно, как вдруг распахнулась дверь, и в квартиру ворвались два изверга. Их злобные лица были похожи на морды диких зверей. Боря в это время был в маленькой комнате. Задняя стенка большой печи выходила в эту

комнату, поэтому Боря успел заскочить на печь, но там уже сидел Бродский. Папа сидел у стола в большой комнате, и эти изверги бросились к нему и поволокли его на улицу. Мы подбежали к окнам. На улице, посреди мостовой (улица тогда была вымощена камнями) стояла толпа людей в окружении немцев и полицаев, туда же гнали людей из домов. Когда их согнали, начали бить и заставили встать на колени. По обочинам улицы стояли крытые машины. Этих несчастных людей вынудили на коленях идти к машинам по камням. Тех, кто падал и не мог идти, расстреливали тут же. Весь этот ужас мы видели из окна. Когда же погрузили людей в машины, убитых бросили туда же. Больше мы папу не видели.

В гетто ели все, что можно было приспособить для еды. Пока еще было тепло и росла трава, для еды использовали крапиву и из нее варили суп. Особенно много крапивы росло вокруг еврейского кладбища по улице Сухой. В начале эта улица входила в район гетто. Все ходили туда рвать траву. Чтобы попасть на кладбище, нужно было пройти через улицу Республиканскую — тогда эта улица тоже входила в район гетто. Однажды, когда я пошла рвать крапиву и вышла на улицу Республиканскую, впереди меня шла женщина. Она держала за руку маленькую девочку, годика два—три. Навстречу шел эсэсовец (в черной форме). Мы шли рядом с тротуаром. Я шла на несколько шагов поодаль от женщины с ребенком. Когда эсэсовец поравнялся с этой женщиной, он вырвал у нее из рук ребенка. Посреди улицы проходила трамвайная линия, и эсэсовец бросил девочку на линию и стал сапогом на горлышко ребенка. Все это произошло так внезапно, что девочка не успела заплакать, только ножки у нее дергались. Несчастная мать ребенка кричала страшным голосом. Даже не кричала, а страшно выла и рвала на себе волосы. От всего увиденного я не могла двинуться с места, через минуту—две я сорвалась и побежала домой, заткнув уши, чтобы не слышать этот страшный вой. Когда я прибежала домой, то бросилась на кушетку, накрыла голову подушкой. Мне казалось, что я слышу крик той несчастной женщины. Не помню, как я уснула, не знаю, сколько спала. Когда проснулась, ко мне подошел дедушка, который жил у нас в квартире. Он сказал: «Хорошо, что ты спала, не вспоминай ни о чем». Это был мудрый и добрый человек. Он даже не спрашивал, что произошло. Все знали, что могло произойти каждую минуту. Через какое-то время я рассказала о том, что видела.

С сентября 1941 года гитлеровцы начали массовое уничтожение евреев. Сначала в деревнях, местечках и небольших городах. 5 сентября 1941 года погибла моя старшая сестра Оля с детьми. Мы узнали об этом, когда в Минское гетто прибежали муж и жена из местечка Смолевичи, которым удалось спрятаться во время погрома и бежать в Минск. Они рассказали, что в Смолевичах уничтожили всех евреев.

В Минское гетто прибежали евреи из других мест, те, кому удалось остаться в живых и убежать оттуда. До конца 1941 года были уничтожены все евреи в деревнях, местечках и поселках, расположенных вокруг Минска.

Нас убивали не только физически, но и голодом. Иногда жители «русского» района вешали мешочки с хлебом на ограждение колючей проволоки. Те, кто

пытался подойти, взять этот хлеб, часто оставался висеть на проволоке — их расстреливали. На улицах гетто часто встречались изможденные и опухшие от голода люди. Они двигались, будто тени. Казалось, что жизнь в этих людях уже угасла. В гетто не осталось ни одной собаки, ни одной кошки — их съели. Самое страшное чувство, это — чувство голода. Человек, который не ел три дня, может потерять человеческий облик. Тот, кто испытывал голод, не выбросит в мусор черствый хлеб, а отдаст птицам или животным. К хлебу надо относиться с уважением. Я часто вижу, как возле мусорных баков висят мешочки с черствым хлебом. Тот, кто это делает, понимает, что хлеб — это самое большое богатство, это самая большая ценность.

Гитлеровцы использовали евреев как бесплатную рабочую силу для тяжелого физического труда и грязной работы. Их направляли для разгрузки и погрузки вагонов на железной дороге, уборку улиц, чистку туалетов и выполнения многих других работ. Каждое утро мужчин и женщин выстраивали в колонны и под охраной гнали на работу. Кто ходил на работу, получал в день один черпак какой-то баланды — в воде плавали кусочки чего-то непонятного — это называлось «супом», и двести граммов хлеба, который пекли из каких-то отходов муки. Этот хлеб не разжевывался, его с трудом можно было проглотить. Он даже не напоминал вкус хлеба. Везло тем, кто попадал на работу в овощные пункты. Там перебирали и чистили овощи. Надсмотрщики, которые следили за ними, проявляли «великодушие» и разрешали брать очистки от овощей. Их приносили домой, промывали, перекручивали через мясорубку, добавляли муку и пекли лепешки.

Единственная возможность выйти на «русский» район была, если пристроиться в колонны, которые вели на работу. У кого еще что-то оставалось из вещей, старались там обменять эти вещи на продукты. Обмен проводился с местным населением.

В соседнем дворе жила Рая, жена моего брата, со своими родителями и сестрой. У родителей Раи был свой дом, большое хозяйство по улице Цнянской, которая не входила в территорию гетто. Когда евреев сгоняли в гетто, родители Раи договорились об обмене с русскими людьми, у которых квартира была в соседнем от нас дворе. Родители Раи оставили этим людям свой дом с коровой и остальным хозяйством, а те дали им за все продукты. Конечно, то количество продуктов, что они получили, было мизерным в сравнении с тем, что они оставили. Но другого выхода не было. В эту квартиру вселились Рая, ее родители и сестра Дора. Еще две сестры Раи — Сима с мужем и младшая Мара — пропали во время бомбежки Минска. Был один брат. Накануне войны его забрали в армию. Старшая сестра Дора была беременна, ее муж в первый день войны ушел по вызову в военкомат и не вернулся. Хотя и вторая сестра Раи была замужем, но детей у нее не было. Родители Раи с нетерпением ждали внуков, у Доры вскоре должен был родиться долгожданный ребенок.

Однажды ночью, в середине сентября, тихо постучали в окно. Все проснулись и не знали, что делать. Через некоторое время опять постучали. Тогда поняли, что

это не немцы — эти изверги так тихо не стучат, да еще в окно. Боря открыл окно и выглянул, он замахал руками, кого-то звал зайти, и тут же в окно кто-то полез, за ним второй. Как только они очутились в комнате, мама всплеснула руками, Ида тихо вскрикнула. Это был Яша с парнем, который до войны жил по соседству. Его звали Юдел, но все звали его Юзик. Яша с ним одновременно призвался в армию. Мы были и рады, и огорчены, когда увидели Яшу. Рады были, что он жив, а расстроились, что он в гетто. Яша очень переживал за гибель папы с Олей, ее детей и за Хоню с Зямой. Про Абрашу и Сеню мы ничего не знали. Яша тоже ничего о них не знал. Он рассказал, что часть, в которой они служили, попала в окружение. В числе немногих им удалось выбраться. Они двигались из города Волковыска на восток по лесам и деревням. Дальше на восток невозможно было прорваться, и они решили идти в Минск. Они не знали, что в Минске — гетто, но когда решили пройти на свою улицу, увидели заграждение из колючей проволоки и поняли, что евреи изолированы. Они хорошо знали этот район Минска, и нашли место, где можно было пройти через развалины домов. У них были наганы с патронами. В лесу, недалеко от Минска, они закопали ручной пулемет с патронами. Юзик домой не пошел, мы знали, что его родители погибли во время облавы, а два брата были в армии. Яша сказал, что они в гетто не останутся. Яша и Юзик выходили из гетто утром с колоннами, а вечером также возвращались обратно. У Яши не была ярко выраженная еврейская внешность, его можно было принять за не еврея, а у Юзика во внешности вообще не было ничего еврейского — он был блондин с голубыми глазами. Они ходили по «русскому» району, не вызывая подозрений, но избегали встреч с немцами и полицаями. У них не было документов. Они ходили не только по городу, но и по деревням. Им удавалось принести что-нибудь из продуктов. У них была одна цель — найти связь с подпольем. Они были уверены, что есть подполье, но понимали, что найти подпольную организацию очень сложно из-за конспирации. После неудавшихся поисков решили уйти в лес, сказав, что по лесам скитаются такие же, как и они «окруженцы», и там можно организоваться в группы. Слово «партизаны» тогда еще не произносили. Саша сказал, что Боря пойдет с ними, и Боря этому очень обрадовался.

Как-то Яша с Юзиком случайно встретили бывшую соученицу Юзика. Они учились вместе в школе, ее звали Фаня, она была нам совершенно чужая, незнакомая, но так сложилась наша дальнейшая судьба, что Фаня стала нам очень близким человеком. После окончания школы в 1940 году Фаня вышла замуж. Ее муж, военный офицер, служил в Западной Белоруссии и Фаня уехала с ним. Когда началась война, ее маленькому ребенку было несколько месяцев. Семьи военных были эвакуированы в Минск, но дальше они уже не успели эвакуироваться. Так Фаня с ребенком осталась в Минске и попала в гетто. Юзик приносил Фане немного продуктов и рассказал ей, что он с Яшей и Борей собираются уйти из Минска и предложил ей также уйти. Ведь другого выхода для нее не было — в гетто она погибнет вместе с ребенком. Юзик стал уговаривать Фаню отнести ребенка на «русский» район и оставить у какого-нибудь жилого дома. Ребенка можно было спасти только таким путем. Фаня не соглашалась, мучилась сомнениями.

## Погром 7 ноября 1941 года

Уже наступил октябрь, поползли слухи, неизвестно откуда взявшиеся, о том, что гитлеровцы готовят к 7 ноября «сюрприз» для евреев Минского гетто. Говорят, что женщин с детьми и стариков не будут трогать, а остальным нужно спрятаться. Потом я поняла — люди сами себя успокаивали, думая, что гитлеровцы не посмеют трогать беззащитных стариков, женщин и детей. До Фани тоже, конечно, дошли эти слухи. Юзик сказал Фане, что они до 7 ноября уйдут из гетто. Он продолжал уговаривать Фаню, пока еще не наступили морозы, оставить ребенка в «русском» районе, т.к. это был единственный способ его спасения. И Фаня решилась. Она одела ребенка, а в одежду положила записку, где написала его имя, отчество и фамилию, дату рождения. Обливаясь слезами, Фаня пошла с Юзиком, который знал, как можно выйти из гетто через развалины.

Они вышли рано утром, когда в городе было мало прохожих. Накануне, за день до этого, Юзик прошел по городу, наметил дом, который ему приглянулся, и утром они подошли к этому дому, положили на крыльцо ребенка. Сами прошли через улицу напротив, спрятались за домами и наблюдали. Через какое-то время на крыльцо дома вышел мужчина. Он нагнулся к ребенку, открыл лицо, опять накрыл и пошел в дом. Через короткое время из дома вышел тот же мужчина с женщиной, она посмотрела на ребенка, что-то сказала мужчине, он взял ребенка, и они пошли в дом. Фаня сама рассказала об этом. Больше она никогда ничего не знала о судьбе сына.

Яша и Юзик продолжали выходить в «русский» район, но выходили уже не с колоннами, а через развалины. Недалеко от улицы, где мы жили, был район города, который немцы разбомбили в первые дни войны. Здесь все дома были разрушены и превратились в сплошные развалины. Этот район подходил вплотную к гетто и здесь, через развалины, Яша с Юзиком выходили в «русский» район и этим же путем возвращались.

С начала ноября стало очень тревожно, все были в напряжении. С каждым днем напряжение все больше усиливалось. Пятого ноября, рано утром, Яша, Боря, Юзик и Фаня ушли из гетто. Шестого ноября люди жили в предчувствии беды. Спрашивали, что делать, будто кто-то мог ответить на этот вопрос. В соседнем дворе, в двухэтажном доме, где жила семья Раи, был большой чердак. Шестого ноября вечером, все, кто жил в этом доме, в том числе семья Раи, решили уйти на ночь на чердак. Рая позвала и нас. Она сказала, что женщины с детьми и пожилые люди остаются в домах, их не будут трогать. Ида решила, что маме и мне надо идти, а она останется с ребенком и стариками, которые жили в нашей квартире. Артист Бродский тоже остался. Мама и я ушли с Раей, не зная, что мы в последний раз видим Иду с Мишенькой. Когда мы пришли к Рае, ее родители взяли одеяла, пару подушек (в Минске в ноябре уже холодно) и собрались идти на чердак. Дора, сестра Раи, уже была на девятом месяце беременности. Ей помогли забраться на чердак по лестнице. Жители этого дома тоже залезли, кроме женщин с детьми и стариков. Затем лестницу затащили на чердак. Всех было двадцать шесть человек. Мы просидели всю ночь, никто не спал, все были в страшном напряжении.

Утром, часов в десять, мы услышали шум машин, потом громкие голоса фашистов. Через некоторое время стала слышна стрельба, крики женщин и детей. Все сидели оцепеневшие, никто не шевелился. В это время с улицы донесся душераздирающий крик. В стенах чердака были большие щели, многие прильнули к ним. Я тоже подошла к щели, откуда видна была вся улица и увидела жуткую картину. По мостовой два изверга тащили молодую женщину из соседнего дома. На нашей улице все ее знали, она была очень красивая с длинными косами. Ее звали Циля, а все ее называли на идиш: «Циле мит ди цеп» (Циля с косами). Перед войной она вышла замуж и была беременна. И вот по мостовой тащили беременную Цилю. Ее тело подпрыгивало на камнях. Вскоре она перестала кричать. Один из мужчин, который смотрел на улицу, прошептал: «Это же Циля с косами». Когда я увидела этот кошмар, я отвернулась и отошла от щели.

Крики и стрельба продолжались. Эти изверги выволакивали из домов людей, многих расстреливали на улице, остальных грузили в большие, крытые машины-душегубки, как все их называли. Во время движения внутрь подавался газ, и к ямам, которые были заготовлены в Тучинке, привозили задушенных людей.

Во время погрома у Доры, сестры Раи, начались роды. Рая, ее мама и еще одна женщина — она была медсестрой — все время были возле Доры. Дора корчилась от боли, руками зажимала себе рот. Потом засунула себе в рот какую-то тряпку, чтобы не закричать. И, вдруг, в этой страшной тишине раздался крик родившегося ребенка. В этом ужасе родился мальчик. Все застыли в страхе, некоторые стали шептать: «Теперь мы все погибнем!». Другие шепотом приговаривали: «Погибаем!». Ребенок, как вдруг закричал, также вдруг и замолчал. Стало так тихо, что слышно было, как люди тяжело дышат. Никто не спрашивал, почему ребенок перестал кричать. Люди опустили головы и не смотрели друг на друга. Бабушка этого ребенка сидела, закрыв лицо руками, и качалась из стороны в сторону. Отец Доры, который лелеял мечту стать дедушкой и с нетерпением ждал первого внука, положил на долгожданного, только что родившегося своего внука, подушку. Мы просидели на чердаке весь день, к концу дня стрельба стала слышна все реже. Криков людей уже не слышно было, громкий говор фашистов тоже стих, но мы по-прежнему боялись двигаться.

Когда наступил вечер, и совсем стемнело, мужчины стали осторожно выглядывать на улицу через маленький проем в виде окошечка — такие были на каждом чердаке. На улице никого не было. Вокруг тихо, в окнах домов огней не видно было. Один мужчина решил сойти вниз, посмотреть, есть ли люди в домах. Он сказал, если он не вернется, чтобы мы не выходили. Спустили лестницу вниз, и он ушел. В напряжении ждали его возвращения. Казалось, время остановилось, а его все не было. Наконец-то, мы услышали условный сигнал, спустили лестницу, и он зашел. Он говорил, что на улице никого нет, был в нескольких домах. Только в одном доме он застал мужчину, который рассказал, что сидел с женой в сарае, у них там угол специально завален хламом и они видели, как гитлеровцы выводили из домов стариков, женщин и детей. Кто не мог идти и детей, которые плакали, вместе с матерями расстреливали на улице. Все время подъезжали крытые машины, убитых грузили в машины вместе с теми, кого увозили.

Все сошли вниз и разошлись по домам. Мы зашли в нашу квартиру, никого там не было. В этом погроме погибла моя сестра Ида и ее десятимесячный сын Мишенька. Тогда же погибли старики — муж с женой, которые жили в нашей квартире и артист Бродский. Все, кто погиб в первом массовом погроме 7 ноября 1941 года погребены в пригороде Минска — Тучинке. Там большие захоронения узников гетто.

После погрома, назавтра, когда люди вышли на улицу, всех охватил ужас. Кругом стояли лужи крови, которую земля еще не успела впитать. Кровь была и на стенах домов.

После первого массового погрома, люди начали делать тайники, их называли «малины». Приспосабливали места, где можно было бы спрятаться. В гетто были, в основном, деревянные, одноэтажные дома и почти в каждом доме — погреб для хранения продуктов. Такой погреб расширяли, маскировали вход в него и там прятались, если успевали спрятаться. Еще делали двойные стенки и другие приспособления. Все, кто был в гетто, постоянно находились на грани жизни и смерти. Еще много раз смерть была рядом со мной, кружилась вокруг меня, но судьбой мне было суждено выжить в этом страшном аду.

Через неделю после погрома вернулись Яша, Боря и Юзик с Фаней. Они бродили по лесам и деревням Минского района. Узнали, что в гетто был погром, и уже не надеялись, что кто-то из нас остался в живых. Больно было говорить про Иду и Мишеньку. Они сказали, что надеялись встретить в лесах тех, кто был в окружении, но никого не встретив, решили на время вернуться в гетто.

К нам пришла наша родственница, Бася, которая пряталась вместе с нами и со своей невесткой на чердаке во время первого погрома. Она сказала, что ее приятельница позвала их жить в дом, который находится в более безопасном месте и там еще есть свободные комнаты. Бася предложила и нам перейти жить в этот дом. Нам все равно надо было уйти из этой квартиры, потому что после погрома гитлеровцы сокращали гетто и те улицы, на которых прошел погром, в гетто уже не входили.

Яша с Юзиком пошли смотреть тот дом, куда звала нас Бася. Оказалось, что это тот разрушенный бомбежкой район, где сплошные развалины. Среди них уцелел один небольшой двухэтажный дом. Было непонятно, относится этот дом к гетто или к «русскому» району. Из-за сплошных развалин со стороны гетто не было ограждения колючей проволокой. Этот дом был ближе к улице Старовиленской, а эта улица не входила в гетто. Яше и Юзику понравилось, что в доме два выхода, один со стороны «русского» района, а второй — со стороны развалин. В доме было три комнаты на первом этаже и три комнаты на втором. Все комнаты на втором этаже были заняты — в одной жила Бася с невесткой, во втором — мать с сыном и дочкой, в третьей — мать и две дочери. С одной из них, Лидой, спустя время, меня, к счастью, свела судьба. До этого я Лиду не знала, но так сложилось, что впоследствии Лида повлияла на мою судьбу и на мое спасение, а я оказалась причастна к ее судьбе. Но все это было потом, после многих переживаний, а когда мы пришли в этот дом, мы не были знакомы.

Яша с Юзиком вернулись и сказали, что нужно перейти в этот дом. Вечером, когда стемнело, мы перешли туда и поселились на первом этаже. С собой взяли

одеяла, подушки и кое-что из одежды. Кровати никто с собой не брал — они были во всех домах при переселении. В этом доме нам довелось недолго находиться. Яша с Борей и их друзья готовились уйти из гетто. На этот раз они собирались уйти подальше, в более крупные леса. Они надеялись, что там, в лесных массивах есть военные, которые попали в окружение. А если не встретят таковых, то сами создадут группу, и будут воевать с гитлеровцами.

20 ноября 1941 года гитлеровские изверги устроили очередной массовый погром. В ту кровавую бойню попало много детей из детского дома гетто. Те, кто пережил тот погром, рассказывали, что гитлеровцы набросились на детский дом, вывели оттуда детей и обслуживающий персонал, выстроили их в колонну во главе с заведующей детским домом и главным врачом. Их всех избили. Душераздирающие крики были слышны и на других улицах. Потом их повели к яме, которая была недалеко от Зеленого переулка. Самых маленьких взрослые несли на руках. Тех детей, которые кричали, расстреливали по дороге к яме. Улицы были устланы трупами детей.

Нас миновал второй массовый погром, благодаря тому, что мы жили в доме, расположенном на границе «русского» района и гетто. После двух массовых погромов гетто сократили, и наш дом, получился далеко от гетто. Оставаться здесь было опасно, и мы решили уйти в гетто, потому что здесь нас было легко обнаружить. Яша, Боря, Юзик и Фаня помогали нам искать место, где можно поселиться. Так, случайно, я с мамой набрели на дом, где жил со своей семьей бывший начальник пионерского лагеря Лапидус[7], с которым работала мама. Он встретил нас приветливо и сказал, что хотя квартира небольшая — три маленьких комнаты, где жили он с женой и с десятилетним сыном, его сестра с мужем — мы можем остаться. Яша с Борей в дом не заходили, ждали нас на улице. Мама все рассказала и они обрадовались, что мы остаемся с хорошими знакомыми людьми. Они ушли в дом, где мы были раньше и откуда ушли из Минска.

Я и мама вернулись в квартиру к Лапидусам и стали жить в их доме.

## В доме у Лапидуса

Лапидус расспрашивал нас обо всем, что было с нами за это время. Мама ему рассказала все, но о Яше и Боре сказала неопределенно: «Не знаем, где они теперь». Лапидус рассказал о своих родных — родители его и жены погибли в погромах.

С едой становилось все сложнее. У мамы сохранился шерстяной платок, и она послала меня к Рае, чтобы та обменяла его на продукты, потому что Рая продолжала ходить на «русский» район. Во время второго погрома семья Раи успела спрятаться, а она в то время находилась в городе. Я пошла к Рае, они жили через несколько улиц от нас, и рассказала ей обо всем. Рая всегда была в курсе нашей жизни. Не зря говорят, что человек познается в беде и трудностях. Раечка оказалась верным, преданным другом нашей семьи. Я вспоминаю о ней с любовью, как о родной сестре. Я отдала Рае платок и когда она пошла в очередной раз на «русский» район, то обменяла его на продукты. Принесла нам немного картошки, и по тем временам большой деликатес — небольшой кусок сала. Мама варила суп из

картошки и добавляла жареные кусочки сала, это был шикарный обед. Как ни экономили, а продукты очень быстро кончались. Кушать хотелось постоянно, даже ночью. Во сне снилась еда. Однажды мама сварила мясо и дала мне довольно большой кусок, я удивилась и сказала, что съем не весь кусок, а оставлю еще на раз. На мой вопрос, где она взяла мясо, мама раздраженно ответила: «Ешь, не спрашивай ничего». Назавтра она опять сварила мясо. Я не выдержала, опять спросила откуда. Мама сказала, что Лапидусу кто-то передал из деревни, а он угостил маму. Я не поверила, потому что знала, что, если делились, то не таким количеством. Больше я не спрашивала, потому что поняла, мама не скажет правду. Уже после войны мама рассказала, какое это было мясо. Она сказала: «Мы же могли умереть от голода». На самом деле этим мясом кто-то поделился, мама не сказала кто. Когда в гетто съели всех кошек и собак, их стали приносить из «русского» района те, кто выходил с колоннами. Проблема была в том, что живыми их невозможно было проносить, но приспособились и к этому. Стали проносить уже в «готовом» виде.

Будучи в квартире вместе с Лапидусом, мы заметили, что к нему часто приходят люди. Он закрывался с ними в комнате, и через короткое время эти люди уходили. Мы поняли, что они приходят неспроста, и я сказала маме, чтобы она осторожно намекнула Лапидусу, что Боря и Яша ушли в лес. Посмотрим, как он на это отреагирует. Мама поговорила с Лапидусом, и он ей ответил, что хорошо, что даже с ним она не говорила об этом. Он спросил, имеем ли мы связь с ними. Мама ответила, что мы ничего не знаем о них. Потом он стал понемножку говорить о том, что надо бежать из гетто, что есть подпольные организации, но не известно, где они. Он говорил очень осторожно, без лишних слов.

В гетто было несколько подпольных организаций, но в целях строжайшей конспирации они не были связаны между собой, если провалится одна группа, чтобы не потащила за собой другую. Мы не обижались на Лапидуса, что он скрывал от нас свои сборы в партизанский отряд. В гетто за это не обижались. Знали, что, если кто попадал в гестапо, редко могли выдержать пытки и сохранять молчание. В гестапо с живых людей снимали кожу. Поэтому многие боясь попасть в гестапо во время побега, не бежали из гетто.

Можно было найти способ выйти из гетто, но главная проблема заключалась в том, чтобы знать дорогу спасения, куда идти. Без проводника можно было попасть прямо в гестапо. Была еще одна причина, почему боялись доверять друг другу — гитлеровцы подсылали ложных проводников-провокаторов, которые старались наладить связь с евреями, работавшими в «русском» районе. А те втягивали других, не подозревая, что это ловушка. Поэтому надо было быть чрезвычайно осторожными. Из-за боязни попасть в гестапо, многие предпочитали погибнуть от пули. Вообще, смерть от пули считалась самой легкой.

После двух массовых погромов седьмого и двадцатого ноября гитлеровцы «освободили» большой район. В этом районе они создали зондергетто для евреев, привезенных из Европы. В конце ноября прибыли евреи из Германии, большинство их жили до войны в Гамбурге. При депортации им объявили, что их везут в Палестину и с собой разрешили взять вещи весом до сорока килограмм. Они по-

селились в районе рядом с нашим гетто, но отделённом от нас проволокой. Им запретили общаться с нами, а нам с ними. Их взяли на тяжелые физические работы, как и наших евреев. Они рассказали, что жили в Германии зажиточно, у многих были свои предприятия — заводы, фабрики, магазины. Вещи, которые им удалось провезти, были добротные. Многим удалось даже провезти драгоценности. Когда их выводили в «русский» район, они меняли свои вещи на продукты. Наши евреи, которые выходили в «русский» район с колоннами, ловили кошек и собак и продавали им. Они покупали все, что можно было съесть. После немецких евреев, стали привозить евреев из других стран Европы. В каждом погроме фашисты уничтожали часть наших и часть европейских евреев.

Эти изверги превратили Минск в конвейер смерти. В городе гитлеровцы собрали также много военнопленных. 21 декабря днем и 22 декабря ночью фашисты вели военнопленных через город, прямо по центральным улицам. По всему пути, где проходили колонны, лежали убитые. Фашисты их расстреливали на виду у жителей города.

В январе 1942 года к Лапидусу стало приходить все больше людей. Он готовился уйти в партизаны, мы это понимали по его действиям. Он познакомил нас с одним человеком и сказал, что со временем этот человек нам поможет. Он назвал его имя, но это не было его настоящим именем. Этот мужчина показал мне, в каком доме его можно найти, но сказал, что сам придет к нам. В начале февраля 1942 года Лапидус со своей семьей бежал из гетто. Мы остались одни в квартире.

Спустя несколько дней после ухода Лапидуса, среди ночи тихо постучали в окно, как тогда, когда Яша прибежал из окружения. Мы спали тревожно и чутко, поэтому сразу услышали. Немного подождали, чтобы убедиться, что нам не показалось. Через короткое время стук повторился. Мы подошли к окну, осторожно открыли его, выглянули и замерли от неожиданности. Мы увидели Яшу. Он тихо сказал, чтобы открыли дверь. Я побежала и открыла дверь. Яша и Боря держали под руки Фаню. Они занесли ее в дом и сразу положили на кушетку, Фаня была ранена в ноги. Одна нога у нее была перевязана, поверх повязки была кровь. Понятно было, что нужен врач и мама вспомнила, что недалеко живет человек, который может помочь. Это был Зибицикер Давид — кандидат наук, заведующий лабораторией в микробиологическом институте, где до войны работала моя сестра Ида. Мама случайно встретила его в гетто. Она знала, где он живет, но невозможно было идти к нему ночью, потому что он жил в общей квартире. Решили подождать до утра. Мы рассказали о Лапидусе, а они рассказывали, что с ними было за это время.

Два месяца они бродили по лесам, встречали разрозненные группы военных из окруженцев, направлявшихся в Западную Белоруссию, в Налибокскую пущу, где большие лесные массивы тянутся на сотни километров. Они тоже решили направиться туда. Им необходимо было пересечь шоссейную дорогу. Но, когда они были недалеко от шоссе, то попали в засаду. Шоссейные дороги охранялись, и их спасло только то, что они вовремя заметили гитлеровцев. Они сразу побежали обратно в сторону леса, который виднелся невдалеке. Гитлеровцы их обнаружили и начали обстреливать. Они уже были около леса, когда Фаню ранили в ногу. Добравшись

до леса, смогли ей наложить повязку. Ей необходима была медицинская помощь, поэтому решили идти в Минск, тем более, что были недалеко от города. Добрались до Минска и ночью пришли в гетто.

Утром мама пошла к Зибицикеру и сказала ему, что племянница вышла в «русский» район, и ее там ранили. Зибицикер сразу пошел с мамой, взял с собой все, что у него было из инструментов, но бинтов, конечно, не было. Он осмотрел рану и сказал, что Фаня ранена в бедро, но кость не задета. Пуля находилась в мягкой ткани бедра, ее необходимо извлечь, но у него нет обезболивающего. Придется потерпеть, другого выхода нет. Еще он сказал: «Кричать нельзя, сами понимаете». Юзик ответил, что будет возле Фани и, если надо, закроет ей рот. Когда пуля была извлечена, Зибицикер потребовал, чтобы неделю раненая оставалась под его наблюдением, чтобы не возникло осложнения. Он приходил каждый день, делал перевязки. Юзик спешил, чтобы поскорее уйти из гетто. На шестой день они ушли. Это был последний раз, когда мы видели Яшу и Борю. На следующий день пришел Зибицикер. Мама сказала ему, что их нет, на что он ответил: «Я у Вас ничего не спрашиваю». В дальнейшем с Зибицикером нас еще сведет судьба.

Яша, Боря и Юзик с Фаней ушли из гетто в конце февраля, за несколько дней до следующего массового погрома, который прошел 2 марта 1942 года. Это был очередной ад, из которого я чудом вышла живой.

## 2 марта 1942 года. В Яме

Утром мама дала мне свои ручные часы и послала к Рае, чтобы она обменяла их на продукты. Рая продолжала ходить на «русский» район, т.к. внешне не была похожа на еврейку. Она выходила из гетто с колоннами, которые шли на работу, и с ними же возвращалась.

Когда я вышла из дому, уже было десять часов. Я дошла до Танковой улицы, недалеко от нашего дома. Вдруг появились немцы и полицаи. Как это всегда бывало, налетели, как коршуны — будто с неба свалились. Я не успела вернуться, добежать до дома. Они окружили улицы. Всех, кто был на улицах, погнали в юденрат к Юбилейной площади. Из домов выволакивали людей и также гнали на площадь. Там объявили, что будет митинг, приедет начальник гетто эсэсовец Рихтер и выступит с речью. На площади и прилегающих улицах было огромное скопление людей. В основном, там были женщины, дети и пожилые люди. Все улицы были оцеплены охраной. Тех, кто пытался прорваться через оцепление, расстреливали на месте. Все уже поняли, что это за «митинг». Дети плакали, женщины кричали. Сколько времени прошло, пока мучили людей, никто не знал. Стоять уже не было сил, люди садились на землю. Стали говорить, что из близлежащих улиц людей уводят куда-то группами, не на машинах, а пешком. Через какое-то время стала слышна стрельба, не только одиночные выстрелы, но и очереди. Затем стрельба прекратилась, но вскоре вновь возобновилась. Эта расправа продолжалась весь день. Кто-то сказал, что уже четыре часа, а темнеть начинало рано. Тем временем окрики гитлеровцев стали слышны все ближе. Уже с Юбилейной площади стало видно, что с близлежащих улиц уводят группами людей. Я поняла, что

очередь дойдет сюда, и все время думала о том, чтобы попытаться бежать, когда поведут. Вокруг стоял непрекращающийся крик и плач, переходящий в сплошной гул. Когда стали уводить людей с улицы рядом с площадью, я стала протискиваться вглубь площади, все время, двигаясь назад. И вскоре я осталась в последней большой группе. Изверги к концу дня уже спешили и всех оставшихся на площади погнали одной толпой, окружив ее гитлеровцами и полицаями. Бежать из такого окружения невозможно было. Тех, кто не мог подняться и идти, расстреливали на месте.

Вся толпа двигалась по Танковой улице вниз, где всюду лежали убитые. Пока шли, изверги стреляли в детей на руках у матерей. Матери падали вместе с детьми. Когда мы дошли до конца Танковой улицы, нас погнали к Зеленому переулку. В конце этой улицы был большой овраг, заросший травой и кустарниками. Фашисты раскопали овраг поглубже и превратили его в огромную яму для захоронения убитых ими не в чем не повинных людей. Еще издали я увидела много убитых в овраге. Начался страшный крик, душераздирающий плач детей. Отчаянные крики к Всевышнему о спасении, но эти мольбы никем не были услышаны. Изверги толкали людей автоматами все ближе к оврагу. Я стала пробираться вперед. Пока вся толпа приближалась к краю оврага, я была у самого края ямы. Впереди меня было много людей. Я начала сгибать колени и опускаться все ниже. Я думала только о том, чтобы упасть в яму, как только начнут стрелять. Обреченные на гибель люди не переставали кричать. Изверги кричали по-своему. В это время началась стрельба, больше я ничего не помню. Я не знаю, как упала в яму. Или меня толкнули те, кого убили или я сама упала от этого кошмара. От страха, который невозможно описать, наверное, я потеряла сознание или была в каком-то забытьи.

Когда я очнулась, я не понимала, что со мной. Я лежала лицом вниз, было тяжело дышать. Что-то сверху меня давило, прижимало. Вспомнила все, что было, и открыла глаза. Уже наступили сумерки, было очень тихо. Я поняла, что жива, но не могла пошевелиться. Потом подняла голову, повертела в одну и в другую сторону — кругом меня были убитые. Я подумала, что и на мне убитые, поэтому и не могла двигаться. Болела правая нога. Я начала вытягивать руки. Сначала вытянула одну, потом с трудом вторую, стало легче дышать. Я приподнялась на локтях и подтянулась вперед, было очень тяжело, но я сдвинулась с места. Передохнула и опять подтянулась вперед. И так я все время понемногу двигалась и выползла из-под трупов. Я продолжала ползти к кустарникам на краю оврага. Когда добралась туда, легла в кусты. Было совсем темно, но я уже привыкла к темноте и стала оглядываться. По всему оврагу лежали убитые. Я прислушалась, было очень тихо. Настоящая мертвая тишина. Я ползла через кустарники. Когда доползла до края, стала оглядываться кругом. Кустарники еще были без листьев, без зелени и через них все было видно. Я осторожно приподнялась, попробовала встать на ноги, болела правая нога. Кругом никого не было. На улице была тишина. Ни в одном доме не было огня. Я постояла и осторожно пошла к первому дому, который был поблизости, спряталась за домом, немного подождала и, пригнувшись, пошла к следующему. И так от дома к дому я передвигалась в направлении улицы, где мы жили. Наш дом был недалеко от ямы. Эти улицы я хорошо знала. Мне надо было

пересечь улицу, чтобы перейти к нашему дому. Я остановилась, оглянулась кругом и, хотя нога болела, побежала через улицу. Опять спряталась за домом. Было тихо, и я опять передвигалась от дома к дому. Наконец, добралась до нашего дома.

Все это время я старалась не думать о том, что мама погибла в погроме. Я не знаю почему, но я была уверена, что мама не попала в погром. Я подошла к нашему дому, дверь была открыта настежь. Я прикрыла дверь, но не на засов, как обычно, чтобы не видно было, что в доме кто-то есть. Прошла по комнатам. Я знала, если мама есть, она должна быть на чердаке. Я зашла в чулан, где был вход на чердак. Лестницы, по которой взбирались на чердак, не было. Я очень обрадовалась, значит, мама на чердаке. Когда мы прятались на чердаке, лестницу всегда затаскивали с собой. Я тихо стала звать маму. Через короткое время я услышала шепот мамы: «Я здесь, держи лестницу». Она спустила лестницу, и я полезла на чердак. Я медленно поднималась по лестнице. Мама спросила, почему я так долго лезла. Я ответила, что сильно болит нога. Мама спросила, что с ногой, я ответила, что не знаю. Она спросила, где была. Я ответила: «В яме». Больше она не расспрашивала. Мама сказала, что надо поесть, но я попросила только пить. Кушать совершенно не хотелось, несмотря на то, что целый день ничего не ела, хотелось только пить. Я не говорила, а хрипела, в горле пересохло. Мне было очень холодно, и я дрожала. Когда мама дала мне пить, зубы стучали о кружку. Мама сказала, что одежда на мне в крови. Она полезла вниз, принесла одеяло и кое-то из вещей. Я переоделась, завернулась в одеяло и уснула. Когда я проснулась, рассветало. Мам сказала, что она не спала, боялась, что я буду кричать во сне. Так мы оставались на чердаке до тех пор, пока не услышали на улице речь, не немецкую. Мы посмотрели в щели на улицу и увидели тех, кто был в еврейской милиции. В гетто была милиция. Мы их узнали, их знали все — они работали в юденрате. Они отличались от остальных евреев тем, что на рукаве у них были красные повязки. В их обязанности входило следить за порядком в гетто, собирать колонны на работу, после погромов и облав убирать трупы. И вот мы увидели, что они ходят по домам. На улице стали появляться люди, те, кому удалось спрятаться от погрома. Мама спустилась вниз узнать, что делать дальше. Вскоре она вернулась и сказала, что можно сойти вниз — милиция собирает мужчин, чтобы захоронить погибших. Когда мы вышли на улицу, стало страшно: в разных местах валялись трупы, стояли лужи крови на замерзшей земле. Люди, которые уцелели, рассказывали об ужасах, которые они видели во время погрома из тех мест, где прятались.

В погроме 2 марта 1942 года погибла Рая, жена моего брата Сени. Она возвращалась с «русского» района вместе с колоннами, которые шли с работы, и попала в эту бойню. Гитлеровцы не добрали для уничтожения то количество людей, которое было у них запланировано, и две, из вернувшихся в гетто, рабочих колонн повели к яме и там их уничтожили. В одной из этих колонн была Рая. Так она и погибла. Ей было тогда двадцать один год. Семья Раи погибла в следующем погроме.

В 1946 году жертвам погрома 2 марта был поставлен памятник, который стоит там по сей день. Пока я была в Минске, ходила к этому памятнику. Для меня он имеет особое значение. Я ходила к той яме, где могла бы лежать вместе с теми

невинными жертвами, там захороненными. Вошло в традицию: каждый год, 9 мая, в День Победы над фашистами, евреи, которые остались в Минске, приходят к этому месту, которое так и называется «Яма».

## Продолжаю жить…

После каждого погрома гетто сокращали, оно становилось все меньше и узников становилось меньше. Дом, где мы жили, оказался у самой проволоки. Это было еще более опасно, потому что у заграждений часто стреляли. Мы решили уйти из этой квартиры, и пошли искать жилье.

В квартирах после погрома валялись разные вещи — книги, картины, которым не было цены. Но, когда была потеряна цена человеческой жизни — обесценились произведения искусства, шедевры человеческого гения. Я проходила равнодушно мимо всего, но не могла отнестись равнодушно к тому, что валялись книги. Я начинала перебирать их, но мама меня торопила. Ее раздражало, что я останавливаюсь, а я часто подбирала книги и уносила с собой. В гетто я их прочитала много. На какое-то время забывала, где нахожусь, и жила в другом мире. Помню некоторые из тех книг, которые читала в гетто: «Человек, который смеется», «Жан Кристоф», «Портрет Дориана Грея», «Война и мир», «Сестра Керри» и много других. Я их складывала под кроватями или где-нибудь в угол. Когда переходили в другую квартиру, они оставались. И после этого погрома в квартирах валялись книги, мимо которых я не могла пройти спокойно.

Мы набрели на пустую квартиру по улице Крымской. Там было четыре комнаты — три маленькие и одна большая. В большой комнате на полу были пятна крови, но это было для нас не ново — к этому мы уже привыкли. Маме понравилось то, что в квартире была «русская» печь. Особенно нас привлекло то, что был небольшой коридорчик и в нем стояла лестница, ведущая на чердак. Главное, мы обнаружили в коридорчике двойную стенку. Промежуток между двумя стенками был узкий, но достаточный, чтобы там поместиться. Стенка была из тоненьких досок, длина промежутка — метра полтора. Вход в стенку был узкий, но можно было протиснуться, если учесть «полноту» узников гетто. Дверей в стенке не было, вместо них стояло плотно к стенке большое зеркало — трюмо. Оно было до потолка и в дальнейшем сослужило добрую службу, а двойная стенка была «малиной», тайником. Квартира оказалась для нас счастливой во всех отношениях.

Об этой «малине» я пишу подробно, потому что она нас в дальнейшем спасала. Мы остались в этой квартире, вымыли полы, убрали после погрома. В комнатах стояли кровати, диван, стол, стулья и другие вещи. Кто остался в живых, продолжали пользоваться тем, что оставалось после погибших. Такой суровой была жизнь в гетто.

Мама не переставала говорить о том, что хочет что-нибудь печь и продавать. Недалеко от нашего дома находилась «толкучка». Там продавали все, что возможно — что приносили с «русского» района, кто работал, продавал, что удавалось достать — кусок хлеба, махорку. Тогда на оккупированной территории были в ходу немецкие марки. Маму очень привлекала «толкучка», чтобы продавать там то, что

она хотела печь. Вскоре она узнала, что немецкие евреи заходят в наше гетто, когда колонны возвращаются с работы, и что-то продают. Она пошла к воротам и познакомилась с двумя из них. Одного звали гер Штифель, другого — гер Листина. (Они сами так себя называли). Мама им сказала, что ей нужна мука и яйца — для начала — один килограмм муки и несколько яиц. Денег у нас не было, и мама пообещала им, что заплатит через два дня.

Мама приспособилась и начала печь булочки — это казалось невероятным в таких условиях, но она сумела осуществить задуманное. Первый раз использовала один килограмм муки. Булочки получились очень хорошие, даже по тем временам. Она послала меня на «толкучку» продать их. Я пошла туда после двенадцати часов. Обычно, погромы бывали с утра, но облавы происходили в разное время. Я стала в таком месте, чтобы в случае облавы могла забежать в ближайший двор и через дворы добежать до дома. Я продала все булочки и принесла маме деньги. Мы не съели ни одной булочки. Надо было рассчитаться за продукты. Вечером пришли мамины поставщики, гер Штифель и гер Листина. Мама отдала им долг и заказала два килограмма муки и яйца. И так она продолжала печь булочки, а я их продавала. С тех пор, как мама начала печь, мы больше не голодали. Мама делала из муки суп-затирку, еще пекла из муки оладьи, только для жарки не было жира.

Мама пекла немного. Во-первых, пронести в гетто продуктов можно было очень немного. Кроме того, опасно было долго находиться на «толкучке». А продавалось медленно — у большинства узников гетто не было денег. Покупали только те, кто выходили на «русский» район и там что-то меняли, что-то доставали. Часть булочек покупали наши «поставщики», они их продавали своим. Мама приспособилась печь из того, что было. Вместо дрожжей она квасила тесто, вместо сахара употребляла сахарин. У нас наладилась дружба с нашими «поставщиками». Они рассказывали, что до прихода нацистов к власти, жили очень хорошо — имели свои дома, крупный бизнес. С приходом нацистов евреев начали притеснять и постепенно все дела свели на нет. Один из них рассказывал, что его сын успел уехать в Англию, там у него крупные заводы. А сам он с женой не успели уехать. Второй рассказал, что его разлучили с детьми — их угнали в Польшу, в концлагерь, а его и жену — в Минск. Им сказали, что их повезут в Палестину. Они рассказали, что в погроме 2 марта погибли их друзья, а им самим повезло — они были в другой колонне.

Однажды, когда я была на «толкучке», я встретила Лиду, с которой мы жили в конце 1941 года в доме среди развалин. Она рассказала, что мать и сестра погибли в погроме, а она осталась одна. Я предложила Лиде перейти к нам жить. В этот же день она пришла, принесла подушку и одеяло. Кровать мы взяли из соседней квартиры, где уже никого не было. Лида осталась жить с нами, днем она ходила на работу с колонной.

В нашем дворе, в соседнем доме жил наш довоенный сосед Зяма — ему было двадцать восемь лет. Это был прекрасный молодой человек. До войны у него была семья — жена и ребенок, которому было два года. Это была хорошая семья, но война разрушила все. Жена и ребенок Зямы погибли в первом погроме вместе с его

родителями. Я знала, что Зяма жил один в общей квартире. Я пригласила его к нам и сказала, что у нас живет хорошая девушка. Лида действительно была симпатичная, приятная, добродушная. Зяма спросил, сколько ей лет, я сказала — двадцать четыре. Он еще посмеялся: «Ты что, сватаешь мне невесту?». И все-таки после работы вечером он пришел к нам. Они, в самом деле, познакомились. Зяма принес карты и учил нас играть в «подкидного дурака». Лида позвала играть и дочь Хаима Риву. Я не хотела играть в карты, помнила, что карты у нас в семье на дух не воспринимались. Папа мой говорил, что карты — это самое низменное увлечение и культурные люди картами не занимаются. Я это запомнила на всю жизнь. Когда я отказалась играть в карты, они стали меня уговаривать: «Надо, чтобы было четыре человека». А я была четвертой и, чтобы не обидеть их, я стала с ними играть. После той встречи Зяма приходил к нам каждый вечер. Вскоре он с Лидой стали жить вместе. Это была хорошая пара. Оба приятные, хорошие люди. Зяма принес фанеру, в большой комнате выгородил угол, где они и жили. Я о них вспоминаю, как о самых близких родных. Всевышний послал мне их. Именно благодаря им, я бежала из гетто, но до этого мне пришлось многое пережить. Я привязалась к Лиде и Зяме, меня очень тянуло к ним. Вечером, когда они возвращались с работы, я приходила к ним в «комнату» и весь вечер была с ними.

После массового погрома 2 марта, мы потеряли связь с человеком, который был связан с подпольной организацией, знакомым Лапидуса. Невозможно описать, как велико было стремление бежать из гетто. С какой завистью я смотрела на тех людей, которые свободно ходили по ту сторону колючей проволоки! Я смотрела в небо на летающих птиц и завидовала им — они могли свободно лететь, куда хотели. Меня ни на минуту не покидала мысль вырваться из гетто. С этой мыслью я ложилась спать, с этой мыслью я просыпалась. Об этом я ни с кем не делилась, даже с парнем, с которым дружила.

Его звали Гриша, ему было восемнадцать лет. Он попал в Минск вместе с родителями в 1939 году, когда они бежали из Польши. В первые дни войны родители Гриши погибли и он остался один. Он был спокойным, культурным и симпатичным парнем. Жил недалеко от нас, поэтому мы были знакомы. Гриша ко мне относился очень трепетно, но я к нему относилась равнодушно. Я же была еще очень юной девочкой. Потом уже, когда прошло время, я поняла, какой это был хороший парень. Но в то время, у меня была только одна мысль — бежать из гетто. А Гриша, как и многие, об этом даже говорить боялся. Наверное, этим можно объяснить мое равнодушие к нему. Даже по прошествии стольких лет я сожалею, что он остался в гетто.

Был еще один парень, который приходил к нам, его звали Танэ. Как-то он принес маме муку для продажи. Мою маму в гетто все знали, ее называли «Хасе ди бекерке» (Хася-пекарка). После того, как мама купила у Танэ муку, он стал приходить к нам чаще и откровенно сказал, что приходит ради меня. Ему было восемнадцать лет. Танэ был знаком с Гришей и знал, что мы дружим, но все равно приходил, стараясь доказать мне, как он ко мне относится. Спустя время я встретилась с Танэ в совершенно неожиданном месте для нас обоих. Но это было потом.

Вслед за нами в квартиру, где мы жили, вселилась семья — отец с двумя дочерьми и сыном. Мать их погибла. Сыном оказался Исаак Аснес, студент, который работал летом до войны в пионерском лагере вместе с моей мамой. Семья у Исаака была интеллигентная — отец Хаим был приятным человеком, старшая сестра Рива — студентка. Младшей сестре, Белле было семнадцать лет, она только окончила школу. Исаак успел проучиться один год в консерватории. Пишу о них подробно, потому что через какое-то время моя мама сошлась с отцом Исаака. Хаим был вежливым, добрым человеком и ко мне относился доброжелательно. Я его тоже уважала.

Иногда Исаак исчезал на несколько дней, но в гетто не принято было задавать вопросы. Хаим и его дети ходили на работу с колоннами. Все, кто был в гетто, постоянно находились на грани между жизнью и смертью.

## Июльская бойня

28 июля 1942 года начался очередной массовый погром. Мама пекла не каждый день, потому что не всегда была мука и в этот день она не пекла. Утром, после десяти часов, мы услышали выстрелы и крики. Посмотрели в окно и увидели двух женщин, за которыми бежали два немца. Мы открыли дверь настежь и залезли на чердак. Лестницу затащили наверх. В двойную стенку не успели залезть. Мы спрятались в дальнем углу чердака, который был завален всяким хламом и тряпками. Слышны были, как обычно, душераздирающие крики, стрельба. Эти изверги бесчинствовали до вечера. К концу дня, когда рабочие колонны возвратились в гетто, одну колонну наших и колонну «гамбургских» евреев полностью уничтожили. Людей вывозили в душегубках. В деревне Тростенец, рядом с Минском, были заготовлены большие ямы. Пока довозили людей, они уже были задушены газом. В эту бойню попала младшая дочь Хаима — она была в той колонне, которую уничтожили. Когда изверги уехали, те, кто был в остальных колоннах, вернулись домой. Мы услышали, как в дом пришли Хаим с Ривой и сошли с чердака.

На улицах лежали убитые. Еврейские милиционеры, как всегда, после погрома, ходили по домам, собирали людей, чтобы убрать убитых и захоронить. Всех убитых всегда хоронили в той яме, где были захоронены тысячи евреев, убитых 2 марта. Так мы пережили еще один погром. Ближе к ночи вернулся Исаак. Он ничего не рассказывал о том, где был.

На следующий день, после того, как колонны с людьми угнали на работу, все улицы были оцеплены гитлеровцами и их холуями-полицаями. Они шли по домам и выгоняли людей из домов. Кричали, чтобы все шли на Юбилейную площадь: комендант гетто выступит с речью. Мы уже знали, что это значило. Я и мама не успели спрятаться. К нам в дом ворвались немец с полицаем. У них в руках были металлические штыри. Немец кричал: «Раус, раус!». А полицай кричал: «Вон на площадь!». Я растерялась и не сразу тронулась с места. Ко мне подскочил немец и толкнул в плечо этим металлическим штырем. От испуга и от боли я молчала, только рот открыла и потянула в себя воздух. Мама подбежала ко мне, схватила меня за руку и потянула на улицу. Когда мы проходили через кухню, там висело

полотенце, мама рванула его и дала мне. Я не поняла, почему мама сказала, что у меня течет кровь, и, чтобы я зажала плечо. Когда мы вышли на улицу, мы были из последних — на улице никого не было. Немец и полицай о чем-то говорили и шли вперед нас. Когда мы дошли до перекрестка улицы Танковой и Юбилейной площади, мы увидели на площади огромную массу людей. Оттуда неслись страшные крики и стрельба. В это время подбежал другой немец, стал что-то быстро говорить немцу и полицаю и показал рукой в сторону площади. Эти два немца побежали в сторону площади, а полицай повернулся к нам, подошел, толкнул нас вперед и крикнул: «Бегом на площадь!», а сам побежал за немцами. Мама сказала мне: «Назад!». И мы забежали во двор, который был рядом, и через дворы бросились к нашему дому. Когда добежали до дома, оставили дверь открытой и сразу забежали в коридорчик, где была двойная стенка. Там же стояла лестница, которая вела на чердак.

Мы отодвинули зеркало, где был вход в двойную стенку, протиснулись в наш «тайник», придвинули зеркало вплотную к стенке и сели на пол. Полотенце, которым я зажимала плечо, я потеряла, когда бежала. Кофточка прилипла к плечу. Она была вся в крови. Боли я не чувствовала, только плечо было тяжелое. Я и мама за все это время не произнесли ни слова. Прошло немного времени, и мы услышали, как кто-то шумно зашел в дом, стали слышны разговоры. Мы слышали, как ходили по комнатам. Потом разговор и шаги стали приближаться к нам, и кто-то вошел в коридорчик, где мы сидели в двойной стенке. Их было двое, разговаривали на белорусском языке — это были полицаи.

Мама мне показала, чтобы я открыла рот так, как она открыла, чтобы не слышно было дыхания. В этот момент нас отделяла от смерти тоненькая стенка и малейшая случайность. Очередной раз мы были ближе к смерти, чем к жизни. Один полицай сказал другому: «Тут никога няма». Они помочились на стенку, за которой мы прятались, брызги через щели летели на нас. И, наконец-то, они ушли. Когда они были в коридорчике, казалось, что время остановилось. Даже когда они ушли, мы боялись пошевелиться. Мы сидели в этой стенке до самого вечера, пока на улице не стало совсем темно и тихо.

Мама сказала, что надо перейти на чердак, так как здесь оставаться опасно. Если завтра будет продолжаться погром, могут еще придти и кому-то взбредет в голову разбить зеркало.

Мы еле-еле поднялись — ноги онемели. Мы стояли пока смогли двигаться. Осторожно отодвинули зеркало и вышли. Стали придвигать зеркало на место, и вот тогда у меня заболело плечо, чем дальше — все сильней. Мы вышли из коридорчика и увидели, что дверь в дом раскрыта настежь, и мы не стали ее закрывать. Мама сказала, чтобы я полезла на чердак, а она возьмет воду и что-нибудь из еды. Я полезла на чердак, держась одной рукой. Мама вернулась в дом, взяла воды и продуктов. Я одной рукой помогала их затащить на чердак. Потом мама опять спустилась вниз, взяла одеяла, простыню. Когда она вернулась, мы затащили лестницу на чердак. Мы уже привыкли к темноте и почти все видели, сели в тот угол, который был завален хламом. Сильно болело плечо, будто внутри был огонь. Мама хотела снять с меня кофточку, но она присохла к тому месту, где была рана. Я завернулась в одеяло, мама приложила ладонь к моему лбу и сказала, что у меня высокая тем-

пература. Я легла, мама намочила конец простыни и приложила мне ко лбу. Опять дала попить и сказала, чтобы я уснула. Сильно болело плечо, я не могла уснуть. Так я промучилась всю ночь, а под утро уснула, но не надолго. Я проснулась, когда уже было светло. Мне стало немного легче, уже не жгло плечо, хотя болело.

Утром, часов в десять, стали слышны на улице голоса, но это были не окрики извергов, а нормальные разговоры. Мама подошла к щелям, посмотрела на улицу и сказала, что по улице ходят милиционеры. Как всегда, после погромов, они ходили по домам и собирали людей, чтобы убрать убитых и захоронить. Мы еще немного подождали и, когда на улице стали появляться люди, кроме милиции, мы сошли вниз.

Мама вышла на улицу, поговорила с людьми. Милиционеры рассказывали, что многие из тех, кого гитлеровцы загоняли в машины-душегубки, были ранены металлическими штырями, кто в спину, кто в голову, кто в лицо. Еще они рассказывали, что колонны с рабочими вчера не вернулись в гетто, и, если они сегодня не вернутся, значит, их уничтожили. Мы очень волновались за всех.

Мама начала лечить мою рану подорожником. Эта трава — народное лечебное средство. Им лечат порезы, нарывы, воспаление кожи. В гетто эта трава везде росла. Я пошла с ножом, нарезала ее, помыла. Мама взяла воду и начала отмачивать кофточку на плече, вокруг раны. Долго и осторожно, но все равно на самой ране кофточка не отмокла, пришлось оторвать, и опять полилась кровь. Мама разорвала простыню и вокруг раны клала тряпки с холодной водой. Вода была холодная, из колонки во дворе. Постепенно кровь перестала идти, она сочилась, но уже мало. Мама обложила плечо и предплечье листьями подорожника. Она пыталась сделать перевязку, но у нее не получалось. Она накрыла плечо, и я лежала на животе. Боли стало немного поменьше, и я уснула. Когда я проснулась, захотела есть. Мам дала мне суп. Она посмотрела плечо и поменяла листья. Они стали сухие и теплые. Мы пожалели, что не было Зибецикера, который помог раненой Фане. Его не было в гетто, мы не знали о его дальнейшей судьбе.

С нетерпением ждали вечера, вернуться ли колонны с рабочими. После пяти часов стали возвращаться колонны, но вернулись не все — часть из них уничтожили. Наконец-то пришли Зяма и Лида, Хаим и Рива. Когда они вернулись, мы все были очень рады. Они за нас волновались, а мы за них. О том, как мы пережили погром, мы не рассказывали, они все понимали без слов — тем более, они видели мое плечо. Лида рассказывала, что их продержали всю ночь на улице, а утром опять начали работать.

В массовом погроме 28—29 июля 1942 года были уничтожены все евреи из Германии и других стран, которые находились в Минске. Они были захоронены в общих ямах, заготовленных в Тростенце и в Тучинке. В других общих ямах там же захоронены военнопленные.

После этого погрома мама перестала печь. Погибли немецкие евреи Штифель и Листина, которые снабжали маму мукой и другими продуктами. Мама не хотела больше ни с кем связываться. Кое-что приносили Хаим и его дочь. Этого хватало, чтобы не быть голодными. У мамы были деньги, на них можно было на «русском» районе что-то прикупить. Делать большие запасы в гетто было ни к чему.

## Помогаю подпольщикам

Однажды Зяма сказал мне, что хочет поговорить со мной о серьезных делах, вынул небольшой листок бумаги и дал мне. Я стала читать и глазам своим не поверила. В самом начале было напечатано на пишущей машинке: «Сообщение «Совинформбюро» и дальше о положении на фронте. О том, что Москве уже не грозит никакая опасность, идут ожесточенные бои, советские войска прочно стоят на своих позициях, а в некоторых местах переходят в наступление. Было еще написано о сплочении советского народа вокруг партии и о том, что в тылу делают все для фронта, все для победы. А в конце: «Смерть немецко-фашистским оккупантам!», ниже было написано: «Прочти и передай другому!».

Я навсегда запомнила текст первой листовки, которая попала в мои руки. Гитлеровцы писали в своих газетах, которые выпускали в Минске, и которые, конечно, попадали и в гетто, что Москва захвачена, Ленинград под их наблюдением, Красная Армия разгромлена. Когда я прочитала листовку, я долго молчала, пока пришла в себя. Я спросила: «Это правда?». Зяма ответил: «Конечно, правда!». Он сказал, что хочет мне что-то предложить и стал мне объяснять, что такие листовки должны попасть к узникам гетто, чтобы люди читали и знали правду. Он сказал, что я должна знать и понимать, что распространять эти листовки очень опасно. Если я не хочу или не могу в этом участвовать, я могу отказаться. Я сразу ответила, что буду делать все, что нужно.

Зяма сказал, что видел, как я вечером выхожу на улицу и ничего не боюсь. Выходить на улицу можно было до наступления темноты. Еще он сказал, что может это сделать сам, но я маленькая и пройду более незамеченной. Расклеивать нельзя, гитлеровцы будут искать, откуда листовки. Зяма объяснил мне, как это сделать — когда стемнеет, пройти через дворы, но стараться не выходить на улицу. Листовки подсовывать под двери или в щели дверей. И не в каждом доме, а через несколько домов, потому что листовок мало — не хватает бумаги.

Я сказала, что пойду сейчас же. Уже наступил вечер, было темно, улицы не освещались. Зяма дал мне листовки, и я пошла. Я делала все, как сказал Зяма. Передвигалась осторожно, от дома к дому. Прошла подальше от нашего дома, выбирала, где дверь неплотно прилегала и засовывала листовку. Проходила несколько домов и опять подсовывала под дверь листовку. Когда не осталось листовок, пошла обратно. Возле нашего дома я увидела Зяму. Он спросил, почему я долго ходила, я ответила, что ушла подальше от нашего дома. Когда мы зашли в дом, он сказал Лиде: «Какая молодец. Я говорил, что она соображает. Она пошла подальше от нашего дома». Я поняла, что он волновался за меня, поэтому ждал во дворе. Я спросила, когда еще надо идти, но он ответил: «Неизвестно, когда будет информация и надо достать бумагу».

Я долго не могла уснуть и поняла, что Зяма связан с подпольной организацией. Это было надеждой на то, что, может быть, удастся вырваться из гетто. Я вспоминала, что всего лишь год—полтора назад я боялась вечером выйти в туалет. А вот теперь я совершенно не боялась ходить в темноте по улицам гетто в запрещенное время. Я сама не понимала, почему не боялась. Может быть потому, что

постоянно находилась в смертельной опасности. Ясно помню, как хотелось жить, как страшно было быть убитой. Конечно, жить всегда хочется, но тогда, в тех страшных условиях, когда каждую минуту могли убить, стремление к жизни было особенное. Я говорила: «Пусть я погибну по дороге, но я убегу из гетто». Сосед, который слышал, как я это говорила, сказал с сарказмом: «Посмотрите на эту «героиню», она убежит. Если даже убежишь, попадешь в лапы гестапо». Вот этот страх — не попасть живым в гестапо, сковывал людей. Многие из тех, кто бежал из гетто, и не знали дорогу, попадали в гестапо. Их выдавали полицаи или местное население. Немцы не знали, кто еврей, а кто нет. Но местные жители очень хорошо разбирались в этом и предавали евреев. Были и такие, которые спасали евреев, но их было очень мало.

Фашисты и антисемиты создавали миф о том, что евреи шли на смерть, как овцы. Основную массу молодых людей пленили и уничтожили. Немощные старики и дети не могли сопротивляться фашистам. Сколько евреев погибло в подпольной борьбе с фашистами, сколько погибло в партизанских отрядах! Никто не опубликовал эти сведения, а они есть в архивах тех лет в бывшем Советском Союзе. Я слышала такие высказывания: «Почему люди сидели в гетто и ждали, когда их убьют?». Но почему так не говорят о военнопленных? Ведь гитлеровцы их уничтожали десятками тысяч. Я не берусь осуждать военнопленных, знаю, в каких условиях они находились, но ведь это были молодые мужчины, но о них молчат. А в гетто было мирное население, в подавляющем большинстве, женщины, дети и старики. Люди не имеют права никого осуждать, не будучи в тех условиях. И, слава Богу, что они не были.

В начале 1943 года Исаак Аснес ушел в партизанский отряд. Исаак и Зяма жили в одной квартире и не знали друг о друге, что они оба в подпольных организациях и собираются уйти в партизанский отряд. Вот такая обстановка была в гетто.

В промежутках между погромами фашистские изверги устраивали зрелища одно страшнее другого. Помнится очередной кошмар. Я шла по улице среди дня. Вдруг опять налетели эти изверги, оцепили улицы и всех, кто был на улицах, погнали к Юбилейному базару. До войны рядом с Юбилейной площадью был базар, который так и назывался — «Юбилейный базар». Из домов выгоняли людей, чтобы они шли к Юбилейному базару. Когда толпу пригнали на базар, все увидели — слева от ворот стояли юные девушки с завязанными глазами. Их было восемнадцать человек. Рядом с ними на заборе был прикреплен большой лист бумаги, на котором большими буквами написано по-русски — «партизаны». У всех на глазах девушек расстреляли разрывными пулями. Вдруг пошел дождь, будто слезы полились ручьями. И вместе с ручьями дождя, вниз по улице текла кровь этих девочек. Этот кошмар не считался погромом.

Я продолжала распространять листовки. Однажды, я встретила знакомого парня. Он сказал, что даст мне что-то прочитать, и вынул листовку из тех, что я распространяла. Я прочитала и спросила его, где он взял ее. Он ответил: «Не задавай глупых вопросов». Я рассказала это Зяме. Он остался доволен, что люди читают эти листовки.

## Подготовка к побегу

Зяма и Лида стали говорить со мной откровенно о побеге из гетто. Это было то, о чем я мечтала. Обстановка с каждым днем становилась тревожней. В августе гитлеровцы почти каждый день устраивали облавы и стреляли в того, кто попадется. В конце августа Зяма сказал мне, что надо готовиться, надо кое-что перенести в другой дом, который находится около заграждения гетто.

При входе в наш дом было несколько ступенек, а под ними лежало немного дров. Вечером Зяма меня позвал, и мы стали вытаскивать эти дрова. Я не знала, для чего это делаем, но спрашивать не стала. Мы тихо вытащили дрова, Зяма взял одно небольшое полено и позвал меня в дом. Мы вошли в их выгороженный угол, называемый «комнатой». Он закрыл дверь, окно было завешено, и положил полено на табуретку. Я все еще не понимала, зачем он возится с этим поленом. Я молчала, научилась не задавать вопросы. Зяма взял нож и начал ковырять полено. И вдруг, полено раздвоилось, в нем было углубление, и там лежал наган. Окно в комнате было обрамлено широкой рамой. Зяма стал на табуретку, достал из-за рамы патроны к нагану. Потом полез под кровать и вытащил оттуда мешок из-под противогаза. Он был чем-то заполнен. Зяма открыл его и показал мне. Внутри лежала портативная пишущая машинка в разобранном виде. Зяма сказал, что завтра нужно перенести все это в дом около ограждения гетто.

Первого сентября вечером мы перенесли все, что приготовил Зяма. Мы там были недолго и, когда вернулись, Зяма сказал мне и Лиде, что завтра или послезавтра должна придти проводница. Она ни на один день не останется в гетто, как только придет — мы в ту же ночь уйдем из гетто. Четвертого сентября Зяма и Лида пришли с работы, позвали меня и сказали, что вечером, когда стемнеет, мы уйдем в ту квартиру, из которой этой ночью попытаемся бежать из гетто. Вечером я позвала маму на кухню и сказала, что ухожу из гетто, подробности ей не говорила. Я предложила ей уйти вместе со мной. Мама ответила, что не верит, что можно вырваться из гетто и попасть в партизанский отряд. Она сказала, что, если я передам ей записку, о том, что нахожусь в партизанском отряде, тогда она уйдет из гетто с тем человеком, кто эту записку передаст.

Через час, когда Зяма сообщил, что мы уходим, я опять позвала маму на кухню и сказала, что ухожу. Она к этому отнеслась так, как будто я иду на прогулку. Не поинтересовалась, есть ли у меня еда с собой, ни о чем не спросила. Так мы и расстались. Я зашла к Зяме и Лиде, и вскоре мы ушли. Мы осторожно пробирались через дворы, от дома к дому, туда, где был назначен сбор всей группы. Когда пришли на место, Зяма обошел дом, подошел к условленному окну и тихо постучал два раза. Дверь открыли, и мы вошли в дом. Там уже было, как мне показалось, много людей. Среди них я с удивлением увидела того парня, о котором уже писала — Танэ, который мне симпатизировал и приходил к нам домой, но никогда не говорил, что собирается бежать из гетто. Более того, он был с Зямой в одной подпольной организации, но они не знали друг о друге, хотя и были хорошо знакомы.

Танэ сразу подошел ко мне и сказал, что встреча со мной в этом месте для него — приятная неожиданность. Когда собралась вся группа, из другой комнаты

вышла женщина. И вот тогда я впервые увидела проводницу. Ее звали Циля[8], ей тогда было тридцать лет. Внешне она ничем не была похожа на еврейку. Она выглядела, как типичная белорусская деревенская женщина — невысокого роста, светлые волосы, круглый овал лица, серые глаза, широкий курносый нос. Одета по-деревенски, с подвязанным на голове платком. Разговаривала на чистом белорусском языке. Если бы не еврейское имя, никто не подумал бы, что она — еврейка. До войны Циля работала сельской учительницей в том районе, где партизанила. Она там знала все дороги и тропинки, состояла в партизанской бригаде имени Фрунзе. Это была исключительно мужественная, бесстрашная женщина. Никто ее не заставлял ходить в гетто и выводить людей из этого ада. Она сама, по собственному желанию, спасала людей, при этом, каждый раз рискуя своей жизнью. Циля спасла много людей. Многие ей обязаны жизнью, в том числе и я. Хотя, если бы не Зяма и Лида, я не знала бы и Цилю. Зяма был связан с подпольной организацией, в которой Циля была проводницей. Были еще другие подпольные организации и еще проводники, которые выводили людей в партизанские отряды. Так что евреи не «сидели сложа руки и ждали смерти», как наши «доброжелатели» стараются преподнести.

Циля хорошо знала территорию вокруг гетто. Она знала, где можно с наименьшей опасностью пробраться через колючую проволоку, где находятся посты полицаев. Она выбрала место для вывода людей там, где ограждение гетто выходило на улицу Колхозную. С обеих сторон ограждения буйно росла высокая трава и кустарники. По указанию Цили в этом месте в ограждении перерезали проволоку такой ширины, чтобы мог пролезть человек. Когда нужно было, проволоку поднимали, потом опускали и скрепляли с двух сторон в нескольких местах. Кустарники и высокая трава хорошо маскировали это место.

И вот собралась очередная группа, нас было шестнадцать человек, Циля — семнадцатая. Десять мужчин и семь женщин. Я была самая младшая, самому старшему было сорок пять лет. В группе было две семейные пары — Зяма с Лидой и еще одна, приблизительно такого же возраста. У нескольких мужчин было оружие — два нагана, три пистолета, один обрез, винтовка с обрезанным стволом и одна граната.

Циля предупредила, что выйдем в три часа ночи, а пока она расскажет, что делать и как вести себя: «Возьмем с собой плоскогубцы и кусачки, подойдем к тому месту, где сделан проход. Там высокая трава и кустарники, и все должны лечь в траву. Двое мужчин — она назвала Зяму и еще одного — кусачками и плоскогубцами разорвут проволоку в тех местах, где она скреплена и приподнимут ее. По знаку все должны пролезть по одному в отверстие и лечь в траву по ту сторону проволоки. Мужчины пролезут последними, вновь сцепят проволоку и оставят кусачки и плоскогубцы в траве. Их потом подберут наши люди, которые хорошо закроют выход. Всем нужно лежать в траве до тех пор, пока я не махну рукой. Когда убедимся, что вокруг спокойно, поднимемся и пойдем. Все должны смотреть на мои руки — я буду руками показывать, что делать. Идти надо по мостовой, а не по тротуару. Тротуары деревянные, из досок, и каждый шаг будет слышен. На тот случай, если будут в нас стрелять, не отстреливаться — это не спасет. Бежать только вперед. Кто боится — пусть не идет. Время до выхода еще есть и я должна ска-

зать вам, куда мы идем. Это — фронт, где нет тыла, люди все время в окружении врага и постоянной опасности для жизни. Условия жизни — суровые, обстановка все время тревожная. Надо быть готовыми в любую минуту к тревоге, то есть к бою. Оружие, боеприпасы и продовольствие — все это партизаны отвоевывают у гитлеровцев. Я вас не хочу запугивать, но вы должны знать, куда и на что идете. Там есть возможность защищаться и воевать с ненавистными извергами. Предыдущие группы, которые я выводила, прошли благополучно».

Я все помню четко и ясно. Я совершенно не боялась, абсолютно не было никакого страха, была только одна мысль — вырваться из гетто и я приняла решение: во что бы то ни стало, обратно не вернусь, и буду все время идти только за Цилей.

Ровно в три часа ночи все поднялись и пошли. Делали все, как Циля говорила: прошли к ограждению из колючей проволоки и залегли в кусты. Долго прислушивались. Недалеко, по ту сторону проволоки, слышны были голоса. Потом услышали шум проехавшей машины. Голоса опять стали слышны. Так мы пролежали довольно долго. Циля подняла руку и показала — идти обратно. Она пригнулась и пошла, мы — за ней. Пришли снова к тому дому, из которого уходили. Циля сказала, что по ту сторону ограждения гетто было неспокойно и в такой обстановке нельзя было выходить. Завтра вновь попытаемся выйти, а теперь все должны разойтись по домам. Зяма, Лида и я ушли к себе. Когда мы уходили из дома, дверь оставалась не запертой. В гетто лучше было не закрывать дверь, воров не боялись — нечего было воровать. Старались не шуметь, тихо легли спать, но мама услышала и вышла ко мне. Она спросила, почему мы вернулись, и я ей все рассказала. Она еще раз подтвердила, что не верит в то, что можно уйти из гетто.

Назавтра, в ночь с 5 на 6 сентября 1943 года, мы опять пошли в тот дом, где были в прошлую ночь. Опять в три часа ночи подошли к тому месту, откуда должны были выйти из гетто. Залегли в кусты и долго прислушивались. Кругом было тихо. Зяма и другой мужчина лежали у самой проволоки в том месте, где нужно было открыть выход. Циля показала рукой на проволоку. Мужчины кусачками и плоскогубцами с двух сторон отцепили проволоку, приподняли ее. Циля махнула рукой и начали по одному выползать. Когда все вылезли, мужчины опустили проволоку, слегка зацепили ее. Кусачки и плоскогубцы просунули в траву на другую сторону ограждения. Циля махнула рукой, все поднялись и пошли.

## К партизанам…

Я все время шла за Цилей. Хотя мы старались идти тихо, все равно, казалось, что каждый шаг отдается гулким эхом, тем более, что нас шло семнадцать человек. Улицы не освещались, кругом темнота. Мы уже вышли к окраине города. Только миновали последние дома, вдруг началась стрельба. Непонятно было, откуда стреляют, впереди или сзади. Мы все побежали, и я думала только об одном — бежать за Цилей, только за ней, потому что дороги не знала, но обратно ни за что не вернусь, чтобы не случилось. Я не оглядывалась, не смотрела по сторонам, бежала только за Цилей. Не знаю, сколько мы бежали, но бежали долго. Мы увидели большое ржаное поле и за ним небольшой лес. Мы бросились к полю, но до леса не добежали. Силы нас уже покидали, невозможно было дышать и бежать

дальше, и тут Циля подняла руку и опустилась в рожь. Вернее, упала. Мы все попадали за ней, во ржи нас не было видно.

Отдышавшись, Циля велела всем подняться — отдыхать еще было рано, нужно было зайти в соседний лесок. Все поднялись и побежали. В лесу оказалось, что нас осталось пятнадцать человек. Двух не досчитались — это были муж и жена. Циля сказала: «Может быть, они вернулись в гетто, когда начали нас обстреливать. Только бы не были ранены…». Она не договорила, лучше бы они были убиты, чем ранены. Среди нас одна женщина была ранена в руку, к счастью, легко. Она была с мужем, он что-то достал из вещмешка, разорвал и перевязал ей руку. Оказалось, что во время бегства мы сбились с дороги и теперь необходимо узнать, где мы находимся. Нужно было узнать дорогу на Старое Село, так называлась деревня, где был сборный пункт партизан[9]. До рассвета надо было добраться хотя бы до района Старого Села.

Недалеко от того места, где мы находились, видна была деревня. Циля решила, что четверо мужчин пойдут к дому на краю деревни, двое лягут в рожь недалеко от дома, а двое подойдут к дому и постучат в дверь. Тот, кто выйдет из дома, должен пойти с нами и показать дорогу на Старое Село. Обратно в дом этого человека не пускать. Вызвался Зяма и с ним еще трое. У них было оружие, но Циля предупредила, стрелять в самом крайнем случае. Они ушли и через короткое время мы увидели, что они идут с мужчиной. Циля ему сказала, что он пойдет с нами и покажет дорогу на Старое Село, и предупредила его, что если он неправильно покажет дорогу, то рискует не только собой, но и своей семьей. Он ответил, что не сотрудничает с немцами, а помогает партизанам. А не уходит в партизаны, потому что у него пятеро детей. Тем временем, он нас вывел на дорогу, откуда уже Циля знала, куда надо идти.

Светало, и мы поспешили дальше. Проводница сказала, что скоро будем в районе, где действуют партизаны. Немцы появляются здесь только со специальным рейдом. Мы почти бежали, чтобы до рассвета добраться до партизанского района. Так мы шли по проселочной дороге долго. Никто не жаловался на усталость, хотя старались бежать из последних сил. Наконец-то Циля сказала: «Все, можно остановиться, передохнуть. Здесь хозяйничают партизаны. Вот уже хутор, а за ним — Старое Село». Мы не останавливались, шли дальше, но уже не бежали. Дошли до хутора и здесь Циля села, и мы все за ней. Она довольно смотрела на нас и улыбалась, а мы еще были в напряжении — не верилось, что вырвались из кромешного ада, не верилось, что наступила свобода.

От переполнявших нас чувств, переживаний и непередаваемой радости, никто из нас не мог слово вымолвить. Циля это понимала, как никто другой. Нас обуревало чувство свободы — это ни с чем не сравнимо. Счастье заполняло нас. В нормальной жизни человек не ценит свободу. Это сравнимо со здоровьем, когда человек здоров, но, только серьезно заболев, начинаешь понимать, как это ценно — быть здоровым. Хотя, как и прежде, каждую минуту, нас поджидала опасность — гитлеровцы могли нагрянуть неожиданно, и мы могли погибнуть, но ведь не в погроме. Это была уже совершенно другая обстановка, здесь можно защищаться и бороться с ненавистным врагом. Когда я отдышалась и пришла в себя,

то начала понимать действительность — это не сон, а явь, все происходит наяву, уже не надо ждать погромов, не надо прятаться в тайниках. Пишу эти строки по прошествии стольких лет и вновь ощущаю то волнение, ту непередаваемую радость, то счастье, что удалось вырваться из кромешного ада.

Возле хутора был колодец с прикрепленным на цепи ведром, и мы все напились воды прямо из ведра. Циля сказала: «Немного отдохнули, надо идти дальше». Когда прошли уже далеко от хутора, мы увидели вдалеке деревенские дома. Это было Старое Село. Войдя в деревню, мы увидели верхом на лошадях вооруженных люди. Одеты они были по-разному: на голове у одних были военные фуражки со звездочками, у других — пилотки, некоторые были вовсе без головного убора. Одежда была на некоторых полувоенная, на других самая разная. Циля сказала: «Вот и партизаны». Мы на них смотрели, как завороженные. Циля привела нас в большой двор с большим домом, с колодцем и мы опять напились воды. Проводница сказала, чтобы мы отдыхали, а она скоро вернется.

Мы сели на траву, которая росла во дворе, разглядывая все вокруг. Все было ново. Вскоре вернулась Циля с двумя вооруженными мужчинами в штатской одежде. Один из них, явно еврей, сказал: «Теперь у вас начнутся партизанские будни. Хотя наши будни суровые, но у нас есть возможность отомстить фашистам за все, поэтому нас так и называют «народные мстители». После этой вступительной речи он сказал, что нас накормят, мы отдохнем, а к ночи отправимся в путь. Дорога предстоит длинная — в Налибокскую пущу. Она находится в Западной Белоруссии, на границе с Польшей. Они попрощались с нами и ушли. Циля сказала, что скоро придет хозяйка дома, покормит нас. Я села возле нее и спросила, собирается ли она еще в гетто пойти? Услышав утвердительный ответ, я стала просить, чтобы она спасла мою маму, я просто умоляла ее. Циля обещала помочь в том случае, если мама захочет сама уйти из гетто. В противном случае уговаривать ее она не станет.

Тем временем пришла хозяйка дома, приветливо поздоровалась с нами на белорусском языке. С Цилей, видимо, они уже не первый раз встречались и понимали друг друга с полуслова. Она принесла царскую еду — большой каравай хлеба и молоко. Каждому дали ломоть хлеба и алюминиевую кружку молока. Мы уже забыли вкус настоящего хлеба и молока. Потом хозяйка отвела нас на сеновал. Это был огромный сарай, где хранилось сено. Циля все время была с нами. Мы повалились на сено и после всего пережитого уснули мертвым сном.

Уже ближе к вечеру нас разбудили. Пришли молодые, вооруженные парни. Видно было, что это — еврейские ребята. Они весело поздоровались с нами, Циля их знала. Она сказала, что это партизаны из еврейского отряда, где командир Зорин. Их было шесть человек, все с оружием и именно они поведут нас в Налибокскую пущу. Старший группы разъяснил нам, какая предстоит дорога. Идти будем в основном ночью, а днем отдыхать, потому что днем опасно передвигаться. Еще мы должны были знать, что основные действия партизаны проводят ночью. Они проверили, какое оружие есть в нашей группе, сказали — «маловато» и добавили: «Ничего, у немцев оружия много, возьмем у них». Нам опять дали хлеб и молоко подкрепиться перед дальней дорогой, и с наступлением сумерек мы пошли. Циля

присоединилась к нам, т.к. она направлялась в свою бригаду, которая также находилась в Налибокской пуще.

На ногах у меня были старые сапоги, и я поняла, что если пойду в них в такую долгую дорогу, они развалятся. Поэтому я их сняла, связала и перекинула через плечо. Погода была еще теплой, и я пошла босиком. Другие, глядя на меня, сделали тоже самое. Мы шли по проселочной дороге, которую наши проводники хорошо знали. Они держались ближе к лесу, и говорили нам, что единственное место, где партизаны чувствуют себя уверенно и могут защитить себя — это лес. Мы шли с остановками, проводники учитывали, что мы «еще новенькие», опыта в длительной ходьбе у нас нет. На заре остановились в лесу, около деревни, которую наметили проводники. Старший группы выделил четырех мужчин: двух партизан и двух наших, и они пошли в деревню за продуктами и водой. Обычно, двое заходили в крайний дом, двое оставались снаружи. Они принесли хлеб, сало и ведро воды с кружками. Всем дали хлеб и по кусочку сала, часть оставили еще на раз. Старший группы назначил часовых, которые стояли в охране по очереди, остальные отдыхали. Вечером съели оставшиеся продукты, вернули в деревню ведро и кружки и пошли дальше.

Так мы продвигались к Налибокской пуще, и чем ближе подходили к ней, тем больше было лесов. Будучи уже недалеко от пущи, мы шли не только ночью, но и днем. Проводники сказали, что мы уже в партизанском районе. Фактически, немцы сюда не показывались. Только, когда устраивали «марафоны» — военные операции при участии регулярных частей для борьбы с партизанами. Когда мы шли по партизанскому району, то даже питались горячей пищей — в деревнях нам давали картошку, а в лесу на полянке мы раскладывали костер и пекли ее. По дороге я много разговаривала с Цилей и не переставала упрашивать, чтобы она спасла мою маму.

И вот, мы уже в самой пуще. Это — огромный лесной массив, где леса тянутся один за другим на сотни километров. Через шесть дней мы пришли в отряд Зорина. Когда мы уже подходили к месту расположения отряда, вдруг откуда-то появилось несколько вооруженных мужчин и женщина. Они поздоровались с Цилей и нашими проводниками. Подошли и к нам, поздоровались. Оказалось, что это была наружная охрана. А вышли они из засады, поэтому мы их не видели, когда подходили.

Придя в отряд, первое, что увидели, это — небольшая поляна среди густого леса. Вокруг и поодаль стояли шалаши и землянки, по территории ходили два вооруженных человека, как нам объяснили — дневальные. Один из них подошел к нашей группе. Старший проводник сказал ему, кто мы и он сразу пошел к командиру отряда доложить о нашем прибытии. Мы сели тут же, на полянке. Нас окружили «зоринцы», как только стало известно, что мы из Минского гетто. Расспрашивали обо всем, у многих там остались родные. Меня многие знали, потому что знали мою маму. В это время из землянки вышел Зорин и еще один мужчина в сопровождении дневального. Как оказалось, второй был начальником штаба.

Зорин был одет в военную форму без знаков отличия. Он был высокий, красивый, с усами — настоящий партизанский командир. Был очень похож на Чапаева из кинофильма. Начальник штаба был одет как обычный партизан: на голове пилотка со звездочкой. Вид у него был не такой внушительный, как у Зорина. Они

поздоровались с нами, Зорин обнял Цилю и сказал одно слово: «Молодчина!». Я достала карандаш и бумагу и быстро написала маме записку: «Это твой последний шанс вырваться из гетто. Если ты не уйдешь с Цилей, я о тебе никогда не вспомню!». Может быть, жестоко было так писать, но я ведь знала свою маму, ее нужно было подтолкнуть. Я отдала записку Циле, и она начала прощаться с нами. Когда все стали благодарить ее за спасение, она сказала: «Будьте все живы, здоровы» и ушла. Зорин сказал, что начальник штаба распределит нас, и тоже ушел.

Отряд Зорина располагался среди боевых отрядов в двух местах. Одна часть была там, где находился Зорин, вторая располагалась в десяти километрах. Начальник штаба оставил в первой части меня и еще двух мужчин, всех остальных из нашей группы отправили во вторую часть отряда, в том числе Зяму с Лидой и Танэ. Когда я прощалась с Зямой и Лидой, Зяма, фактически мой спаситель, человек, которому я обязана своей жизнью, сказал слова, которые я запомнила на всю жизнь: «Если будем живы — встретимся!». Будто он предчувствовал, что больше никогда не встретимся. Они ушли. Начальник штаба вызвал командира роты и сказал, что мы будем в его роте.

Уже прошло две недели, как я находилась в отряде Зорина. Сентябрь месяц был на исходе, а от Цили не было никаких вестей. Не с кем было поделиться своими волнениями за маму, не было возможности узнать что-нибудь о Циле. И вот, двенадцатого октября я была очередной раз на посту внутренней охраны на территории отряда, где находился штаб отряда. Я еще не отбыла положенное время на посту, пришел командир роты и привел мне замену, чему я очень удивилась. Он сказал, что в отряд пришла моя мама. Я прибежала. Она стояла возле землянки Зорина с двумя девушками. Вокруг собрались люди, ведь многие знали мою маму. Когда я подбежала, мама со мной спокойно поздоровалась, без эмоций, будто мы расставались на какое-то время по незначительному поводу. Я спросила: «Где Циля?» и мама ответила, что она уехала в свою бригаду с немцами. Я удивленно спросила: «С какими немцами?». Мама не ответила. В начале октября, за две недели до полного уничтожения гетто, Циля выполнила свое обещание — она спасла маму и еще двух девушек. Вот как это было.

Циля пришла в гетто шестого октября. К этому времени мама познакомилась ближе со своими соседками по дому — молодыми девушками-сестрами. Старшую звали Рахель. Она пришла к маме за советом и рассказала о том, что там, где она с сестрой работает, есть немец, который ей симпатизирует. Он помогает им продуктами, и она попросила этого немца вывезти их из гетто. Он согласился, но спросил, есть ли безопасное место, чтобы спрятаться. Мама ответила Рахель, что у нее есть в деревне женщина, с которой она дружит много лет. Она иногда приезжает и привозит маме продукты. Если эта женщина приедет, мама пообещала поговорить с ней. Рахель сказала, что за это и маму вывезут из гетто. И вот, к счастью, в это время Циля пришла в гетто, нашла маму и передала от меня привет. Когда мама стала спрашивать обо мне, Циля отдала ей мою записку. Она прочитала ее и рассказала Циле о Рахели и ее сестре. Циля предупредила, что это связано с большим риском, потому что неизвестно, можно ли доверять этому немцу. Но рисковать приходится в любом случае: любой путь из гетто — это всегда большой риск.

Тянуть время было нельзя, чем скорей — тем лучше. Мама пошла вечером к Рахели и сообщила ей, что приходила женщина из деревни. Она согласна, чтобы у нее жили, но придется помогать по хозяйству. Она не могла долго оставаться здесь — необходимо вернуться домой, т.к. у нее хозяйство в деревне. Рахель была рада, что все складывается так хорошо. Она только спросила, как далеко это от Минска и спокойно ли там, потому что ее немец будет иногда приезжать к ней, и, чтобы хозяйка не была против. Мама ответила, что это не далеко от Минска и хозяйка хороший человек. Назавтра Рахель пришла с работы и сообщила, что на следующее утро немец приедет за ними.

Утром немец, действительно, приехал к воротам гетто, где, как обычно, собирали людей на работу. Он предъявил заявку, и Циля, мама и Рахель с сестрой сели в кузов машины. Это была грузовая машина-полуторка. Циля повезла их в Старое Село. В кабине сидели шофер — солдат и немец-офицер, знакомый Рахели. У них были черные петлицы войск СС, автоматы и пистолеты.

Не доезжая до Старого Села, Циля остановила машину возле небольшого леса. Она сказала, что это село спокойное, но она проверит — нет ли там «бандитов» — так называли немцы партизан. Вернувшись, Циля сообщила, что можно ехать — в деревне все спокойно. Когда заехали в село, на улице никого не было. Остановились около дома, который указала Циля, сказав, что это ее дом, где она живет с сестрой. Все зашли вовнутрь, и Циля с «сестрой» начали подавать к столу. Немцы положили автоматы в угол комнаты и стали мыть руки, «сестра» Цили дала им полотенце. Затем все сели за стол и начали есть. В это время партизаны окружили дом, встали у открытых окон и внезапно для немцев в комнату зашли несколько партизан с автоматами. Немцы были растеряны. Партизаны скомандовали: «Хенде хох!» и немцы подняли руки вверх. Партизаны забрали у них пистолеты и автоматы. Растерялись не только немцы, но и девушки. Они думали, что на самом деле будут жить в деревне у женщины. Они не понимали, что происходит. Немцев предупредили, что, если они попытаются бежать, их расстреляют, а, если они будут вести себя спокойно, им ничего не грозит.

Немцев посадили в кузов машины вместе с охраной. Там же находились Циля, мама и Рахель с сестрой. За руль сел партизан, а рядом с ним другой партизан. Они ехали в пущу медленно, потому что только так по проселочным дорогам можно было ехать. Когда приехали в пущу, заехали в отряд Зорина, оставили маму и Рахель с сестрой, а Циля с немцами и партизанами поехали в бригаду имени Пархоменко.

С Цилей мы встретились в Минске после освобождения Белоруссии. От нее мы узнали, что немцы были в бригаде Пархоменко, как военнопленные. Они выполняли хозяйственные работы. Однажды они углубились в лес, будто за дровами для костра, и попытались бежать. Но, они не знали, что кругом территории, где расположена бригада, были засады. Их задержали и вернули обратно. Они стали просить, чтобы их не убивали. Через какое-то время они опять пытались бежать и добрались до последнего дозора. Их уже там расстреляли.

Последние две тысячи узников гетто были уничтожены 21 октября 1943 года. Это был последний погром. Минское гетто прекратило свое существование, которое длилось восемьсот двадцать четыре страшных дней и ночей.

## О семье Арона

Теперь следует написать об Ароне, моем муже, то немногое, что я знаю из его скупых рассказов. Арона постигла та же участь, что и меня. Он тоже был в Минском гетто, где была и я. Его отец — Завел Меламед, 1885 года рождения, родом был из Польши. После Первой мировой войны та часть территории, где проживали его родители, отошла к Белоруссии. Его мать — Ида, ровесница отца, родилась в местечке Узляны Минской области, где после женитьбы родители остались жить. Старший брат Соломон, 1920 года рождения, к началу Второй мировой войны находился на срочной службе в армии. Два младших брата были школьниками — Володе (Вульфу) было тринадцать лет, Леве — одиннадцать.

Арон родился в местечке Узляны в 1924 году, закончил семилетку, а дальше учиться поехал в Минск. Там он жил в семье Мушкат, близких друзей своих родителей. К началу войны он закончил в Минске десять классов и 21 июня получил аттестат зрелости, а 22 началась война. В этот же день Арон ушел из Минска и с большими трудностями добрался до Узлян, где была его семья. Спустя несколько дней, после начала войны, немцы оккупировали Белоруссию. В Узлянах они появлялись наездами, также как и в других деревнях. В один из таких наездов, в августе месяце, немцы вновь прибыли в Узляны.

У отца Арона была лошадь. В этот день сосед попросил отвезти его на мельницу перемолоть зерно. Мельница находилась в конце деревни. Отец с Ароном и соседом погрузили зерно на подводу, и втроем поехали на мельницу. Они только успели разгрузить зерно с подводы, как в это время приехали гитлеровцы. Их было несколько человек и с ними — полицай. У отца Арона была длинная черная борода. Когда немцы увидели его, двое подошли и спросили: «Юде?». Он молчал. Немцы закричали: «Юде, юде!». К ним подбежал полицай и спросил: «Ты еврей?» Отец не ответил. Полицай стал кричать: «Юде, юде!». У немцев на ремнях висели кинжалы. Один из этих варваров подошел к отцу, схватил его за бороду, запрокинул голову назад, выхватил кинжал и перерезал горло. Зарезал его, как курицу. В это время сосед подбежал к Арону и начал на него кричать: «Ты что здесь торчишь, мать одна дома с хозяйством и детьми, бегом домой!». Толкнул его за плечи: «Ты еще получишь дома!». Полицай обратился к соседу: «Кто это?». Сосед ответил: «Это мой сын. Такой вот, дома полно работы, а он здесь болтается». Так сосед спас Арона от смерти. Труп отца остался лежать возле мельницы. Когда фашистов уже не было, сосед пошел с Ароном и похоронили отца. Арон мне сказал, что он на всю жизнь запомнил, как зарезали его отца.

В сентябре, когда гитлеровцы начали уничтожать евреев в деревнях и местечках, добрались и до Узлян. В тот черный день, мать Арона ушла рано утром в соседнюю деревню договориться о продаже лошади, которая осталась после смерти отца. Арон ушел рано утром косить траву для коровы. Он находился недалеко от дома. Братишки, Володя и Лева, еще спали. Вдруг подъехали машины с немцами, окружили дома. Послышались крики и стрельба. Арон побежал к своему дому, но издали увидел, что немцев вокруг домов очень много. Он лег в траву и стал ползти обратно и, когда стало не видно немцев, побежал в поле, где стояли стога

сена. Арон заполз в первый попавшийся стог. Стрельба слышна была еще очень долго. Потом Арон услышал громкие голоса, которые приближались все ближе и вскоре совсем рядом услышал немецкую речь. Он понял, что происходит. Эти изверги искали людей в стогах сена. Вдруг в этот стог, где он прятался, у его лица оказалось не то копье, не то палка. Арон отпрянул назад. Гитлеровцы еще долго рыскали по полю. Потом голоса начали отдаляться, и вскоре совсем не стало их слышно. Арон еще долго сидел там, потом стал выползать наружу. Он увидел, что уже темно. Когда выбрался из стога, кругом было тихо. Пошел в сторону своего дома. Не во всех домах горел свет. Арон осторожно, через огороды пробрался к своему дому. Заглянул в окно, там было темно, и он в дом не зашел. Он увидел, что в еврейских домах свет нигде не горел. Тогда он пошел огородами к соседу, который его спас, когда убили отца, тихо постучал в окно. Выглянул сосед, увидел Арона и позвал в дом. Сосед рассказал, что часть евреев увезли на машинах, остальных убили в домах. Сказал, что завтра мужчины выкопают общую могилу и захоронят убитых. Арона он отправил спать на печь. В соседней деревне, куда пришла мать Арона, сразу стало известно, что в Узлянах был погром. Мать переночевала, а назавтра, рано утром, пошла в Узляны. Она нашла Арона у соседа. Так они встретились после погрома. Володя и Лева погибли.

Арон с мамой прятались у соседа целую неделю. Дальше оставаться там было опасно: их там все знали. Из-за них мог погибнуть сосед с семьей за то, что он их прятал. Арон с мамой решили уйти в Минск. У них в Узлянах остался большой дом, лошадь, корова и остальное хозяйство. Они сказали соседу все забрать себе. Потом Арон узнал, что многое растащили другие соседи, но это уже не имело значения. Арон с мамой пришли в Минское гетто, где встретили Соню, дочь своих друзей Мушкатов, которой было 22 года. Накануне войны она поехала в дом отдыха. Ее семья, родители и брат успели эвакуироваться. Они надеялись, что Соня тоже эвакуировалась, но она не успела и вернулась в Минск. Так она попала в гетто.

Соня позвала Арона с мамой жить в том доме, где сама жила. Там была свободная комната, и они стали жить в одной квартире. Соня и Арон ходили на работу с колоннами. Арон встретил в гетто своего земляка Гебелева. Он рассказал Арону, что связан с подпольной организацией, у которой есть проводники и они выводят людей из гетто в партизанские отряды. В эту организацию принимают проверенных людей, тех, кто не боится риска или у кого есть оружие.

Там, где Арон работал, был полицай из местных белорусов. Он распределял людей на работу. Этот полицай скупал у евреев все, что ему предлагали, потом это перепродавал. Арон покупал у немецких евреев кое-что и продавал этому полицаю. И так он наладил контакт и понял, что этот полицай за деньги сделает все, что угодно. И Арон рискнул — он сказал полицаю, что хорошо заплатит, если тот продаст ему пистолет. Полицай согласился. У мамы Арона осталась десятирублевая золотая монета царской чеканки. Арон взял эту монету и показал полицаю. У того загорелись глаза, и Арон предложил ему отдать пистолет и патроны за монету. Полицай пошел с Ароном в туалет, снял с себя пистолет и отдал вместе с патронами. Арон пообещал полицаю, что еще чего-нибудь купит у него, но должен достать, чем платить. Это он сказал специально, чтобы полицай не предал его, а

надеялся, что Арон принесет еще золото. После этого Арон встретился с Гебелевым[10] и сказал, что у него есть пистолет, но он не может оставаться в гетто, потому что опасается, что тот, кто продал ему пистолет, может его выдать. Гебелев обещал, что они уйдут вместе и как можно быстрей.

В погроме 2 марта 1942 года погибла мать Арона. Полицай, который продал ему пистолет, постоянно напоминал, что Арон обещал достать еще золота. Арон дотянул до середины апреля и решил больше не ходить на работу. Полицай последнее время особенно приставал к Арону, откровенно угрожая ему, если тот не принесет золота. Арон не говорил Соне, что собирается бежать из гетто, но надеялся, что сможет вытащить и Соню.

После погрома прошло уже полтора месяца, было спокойно. Соня осталась дома — не пошла на работу. Это было в полдень, Арон тоже был дома. Вдруг они услышали на улице шум машин, вслед за этим крики. Они сразу поняли, что это облава и на улицу уже нельзя выйти. Через несколько минут резко открылась дверь, и в дом зашли два немца. Они сразу направились к Арону. Один из них увидел Соню, стоящую возле кушетки, в темном углу. Он крикнул: «О, метхен!» ( Девушка). Немцы уже не обращали внимания на Арона, они переключились на Соню. Немец, который первым увидел Соню, набросился на нее, повалил на диван и начал ее насиловать. Второй немец стоял рядом, смотрел и смеялся. Арон выскользнул в другую комнату, открыл окно и выскочил во двор. Он забежал в туалет во дворе. Прошло время, Арон услышал шум машин, и после этого стало тихо. Он вышел из туалета, подошел к окнам дома, заглянул — там никого не было видно. И на улице — никого. Он подошел к двери — она была открыта настежь, и зашел в дом. Соня лежала на диване растерзанная, лицом вниз. Эти изверги жестоко изнасиловали ее. Арон подошел к Соне, надеясь, что она жива, стянул с кровати простыню, накрыл ее, перевернул, наклонился к ней — она не дышала. В растерянности стал ее тихонько трясти, но она не подавала признаков жизни. Потом он понял, что она уже мертва. Арон пошел к соседу, попросил его помочь захоронить Соню. Они ее похоронили в том овраге — яме, где были захоронены тысячи евреев. Позже Арон узнал, что в этой облаве многих увезли на машинах. После гибели Сони Мушкат Арону суждено было быть в гетто еще целый год. Ему удалось бежать из гетто 10 мая 1943 года. Он попал в партизанский отряд имени Ворошилова бригады имени Буденного.

Мы, и только мы, пережившие этот кромешный ад, знаем правду, всю правду о том, что произошло с евреями. Никто не имеет права судить о тех, кто погиб в этом кромешном аду. Я была там два года, один месяц и пятнадцать дней. Каким чудом я выжила — я и сама не знаю. Может быть, этого и вообще не было? Тогда где мои папа, сестры с их детьми и мужьями? Ответ один на всех — их уничтожили, как и миллионы других невинных жертв, только за то, что они были евреями.

Все, что я написала — я это не только помню, но и ощущаю так, будто все происходило буквально вчера. Я бы хотела забыть этот кошмар, который мне пришлось пережить. Но все пережитое мною глубоко врезалось в память, и забыть невозможно.

# ДОКУМЕНТЫ

**№ 1. Из беседы начальника информационного отделения разведотдела Белорусского штаба партизанского движения И.С. Кравченко с партизаном Р.М. Бромбергом**

**8 октября 1942 г.**

Беседа с партизаном 3-го отряда бригады Никитина
т. Бромбергом Рафаэлем Моносовичем,
находившемся в Минске по 2 сентября 1942 г.

8 октября 1942 г.
д. Хворостьево

ВОПРОС. Расскажите о вступлении немцев в г. Минск, их первых административных, хозяйственных и политических распоряжениях и приказах, зверствах по отношению к населению.

ОТВЕТ. 27 июня 1941 г. на рассвете, в 3 часа утра, на площади Свободы была высажена небольшая группа немецких десантных войск, в основном автоматчики, а также танкетки. Со стороны Сторожевки по Виленскому шоссе вступили в город небольшие группы механизированных немецких войск.

Минск представлял собой гигантский факел — горела Ленинская улица, Советская, догорали на Долгобродской улице Дом специалистов и Дом киноработников. Население, не успевшее своевременно эвакуироваться, в панике бросалось то на Московское, то на Могилевское шоссе с целью уйти из города и ближайших районов.

У деревни Паперня Минского района произошла большая схватка немецких десантников с отступающими частями Красной Армии.

В первый день своего появления в Минске немцы дальше площади Свободы не появлялись. Этим обстоятельством и объясняется то, что население города могло воспользоваться продовольственными и промышленными товарами, находившимися в уцелевших от огня складах, магазинах, фабриках и заводах.

На второй или третий день появления немцев, в город вошла небольшая группа, видимо, хозяйственников, так как они моментально оцепили все склады города и начали грузить продукты питания, промышленные товары, обмундирование, которое было на военных складах.

Вступив в город, немцы расспрашивали население о судьбе немецкого летчика, сбитого над городом в первые дни войны, просили показать место, где был сбит немецкий самолет и могилу летчика.

Согласно первому приказу военно-полевой комендатуры население должно было под страхом расстрела немедленно сдать оружие всех видов и радиоприемники. Этим же приказом было запрещено слушать по радио Москву. Срок сдачи оружия и радиоприемников — 1 июля.

Второй приказ военно-полевой комендатуры гласил о явке всего мужского населения города Минска и близлежащих деревень для регистрации. Явке подлежали все мужчины с 16 до 65 лет.

Первая группа мужчин возрастом до 45 лет регистрировалась в здании Большого театра оперы и балета, а вторая — свыше 45 лет — в воинской казарме (кажется, 40-го кавалерийского полка) на улице имени Фрунзе. Все, явившиеся для регистрации, должны были иметь при себе воинский билет и паспорт.

Когда публика явилась на так называемую регистрацию, здание театра оперы и балета было окружено немцами. Всех находившихся там мужчин погнали на Сторожевское кладбище. Там всех пропускали через загородку, как скот, вокруг стояли автоматчики и проверяли наличие карманов. Деньги частью отбирали, частью рвали, отбирали спички, табак, соль, хлеб, — словом, все, что им нравилось. При этом проверяли документы.

По приказу военной комендатуры мужское население должно было зарегистрироваться в течение трех дней. В первый день народа явилось очень мало, на второй день — больше. На третий день уже все знали, что явившихся для регистрации задерживают и гонят на кладбище. Регистрация мужского населения немцами была проведена с целью оградить себя от мужчин как в городе, так и в близлежащих местах во избежание вооруженного или какого другого сопротивления с их стороны. Все женщины без различия национальностей оставались в городе на своих квартирах.

На Сторожевское кладбище, куда согнали всех мужчин, никого из родственников и знакомых не допускали. Сюда были согнаны не только жители Минска, но и окружающих деревень, а также возвращенные немцами с дорог, т.е. не успевшие выбраться на незанятую территорию. Как в первый, так и во второй день в лагере на Сторожевском кладбище никакой пищи не давали. В конце второго дня, когда всех перегнали в новый лагерь, расположенный у реки в районе дачи Дрозды, туда въехала немецкая автомашина, груженная мешками с нашими армейскими сухарями «НЗ», немцы стали разбрасывать сухари толпе. Изголодавшаяся толпа набросилась на эти сухари, произошла свалка. Немцы сфотографировали, потом в немецких журналах появились снимки с надписью, как немцы кормят голодных людей в СССР. Многие не могли достать сухари с земли и тянулись к машине. Таких людей немцы били по рукам и по головам. Если это не помогало, стреляли в упор. Многие были убиты и ранены.

В лагере голодали. Некоторые женщины сумели пробраться к нам и доставляли воду. Мы ее делили буквально ложками. Моя жена принесла графин воды, и я делился с многими товарищами.

Я забыл упомянуть еще об одном обстоятельстве. Когда нас переводили со Сторожевского кладбища в Дрозды, нас гнали под охраной автоматчиков и двух танкеток, заставляли бежать бегом весь путь.

Придя в Дрозды, народ бросился к реке, спешили напиться. Немцы за это расстреливали из автоматов, стреляли по краю реки. Кто попадал в эту полосу огня, погибли. Но жажда была слишком велика, люди тянулись к воде и погибали.

В лагере Дрозды произошло отделение гражданского населения от военнопленных. Раньше все были вместе. Часть военнопленных, более догадливая, стала переодеваться в гражданскую одежду. Гражданскому населению пришлось поделиться одеждой с военнопленными. После такого разделения подъехала автомашина из военно-полевой комендатуры с радиопередатчиком. Какой-то немецкий чин начал вызывать по списку большое количество людей. Этот список был заранее составлен, в основном там были партийные и крупные ответственные советские работники.

Немец несколько раз вызывал по фамилии председателя облисполкома т. Темкина, фамилию т. Бударина, редактора газеты «Октябрь» и еще ряд фамилий. Кто этот список дал, трудно судить.

Одного человека, по фамилии Бернштейн, вызвали по списку, вытащили из толпы и моментально убрали. После этого стали вызывать рабочих железнодорожников-машинистов и вообще железнодорожников, бухгалтеров. Их из лагеря убирали, приказав на другой день явиться в комендатуру за получением направления на работу. В случае неявки — расстрел. Это касалось мужчин не евреев. Об этом было объявлено немцами по приезде автомашин в лагерь.

Разделения людей по национальностям еще не было, за исключением следующего. До того, как нас погнали в Дрозды, подъехала автомашина, как видно, с представителями Латвии, Литвы и Эстонии. Начали отбирать граждан — подданных этих государств. Отделили также актеров польского театра. Всех этих лиц в Дрозды не погнали.

Когда отделили железнодорожников и рабочих хлебозаводов, немцы натянули веревку, разделившую территорию лагеря. Мы пока не знали, для чего это делается.

Днем пьяные эсэсовцы с засученными рукавами вошли на территорию лагеря и приказали всем евреям пройти по одну сторону веревки. Некоторые евреи не хотели уходить, прятались. Их тут же на месте расстреливали по указанию предателей. Некоторые пытались переправиться через реку, но и там их ждала смерть, так как бронемашины и пулеметные точки, установленные по ту сторону реки, их убивали на месте.

Отделив евреев, немцы стали выпускать из расположения публику остальных национальностей. Вначале без предъявления воинских билетов из лагеря никого не выпускали, но ввиду того, что у большинства воинских билетов не было, а некоторые просто не хотели показывать, выпускали имевших при себе паспорта. Никаких отметок на документах не делалось. Выпускаемых из лагеря строили в ряды по 8 человек, причем считали при помощи палок.

Но и приток в лагерь продолжался. В приказе военно-полевой комендатуры по поводу регистрации мужского населения было указано, что в случае обнаружения мужчин в квартирах или на улицах, они будут расстреляны. Помимо этого, мужчин ловили на дорогах и сгоняли в лагерь. Таким образом, когда я выходил из ла-

геря, туда прибывали все новые и новые группы задержанных мужчин, не явившихся на регистрацию.

Большое количество людей не имело никаких документов. В большинстве это отбывавшие принудительные работы, бежавшие из тюрем, или потерявшие, или уничтожившие свои документы по тем или иным причинам. Такой контингент оставался в лагере до последних дней в группе не еврейской национальности.

Необходимо отметить такой факт. Во время пребывания в лагере пищи никакой не давали. Когда в лагерь приносили пищу родственники или знакомые, то она по назначению не попадала, изголодавшиеся люди набрасывались на принесенное. В основном, это был уголовный элемент. Получалась свалка. Немцы на это никакого внимания не обращали. Потом немцы говорили: «У русских ничего не троньте, а у «юде» можно отбирать». Таким образом, немцы натравливали уголовников на евреев. Они отбирали пищу, одежду, врывались в расположение евреев, отделенных от нас веревкой.

Когда немцы отделили евреев от людей других национальностей, то сразу приказали отделить советскую интеллигенцию еврейской национальности — инженеров, техников, врачей, студентов. Отделили также рабочих специалистов.

Во время пребывания в лагере были расстреляны и многие русские, просто ни за что: не понравилась немцу какая-либо физиономия — стреляет.

С евреями было так. Отделили советскую интеллигенцию, посадили на автомашину и увезли куда-то. Вначале ходили слухи, что увезли на работу, а в действительности — уничтожили.

В лагере осталось небольшое количество евреев, которые жили потом в организованном гетто. Там же поселили и основную массу рабочих специалистов.

Военнопленным, которые находились рядом с нами в лагере, бросали только соленую рыбу и больше ничего. Вся трава на берегу реки была выщипана военнопленными. Они ее варили в консервных банках и ели. Из лагеря военнопленных ежедневно выносили сотни трупов. Если раньше военнопленные умирали от жажды, то здесь от голода и шальных пуль, которые беспрерывно сыпались на их головы. Достаточно было встать во весь рост, как немцы стреляли.

У находившихся в лагере немцы отбирали всю более или менее приличную одежду, как-то: кожаные пальто, куртки и пр. Уголовников, которые страдали из-за отсутствия одежды, немцы натравливали на евреев.

Несмотря ни на какие протесты, немцы позволяли творить все безобразия не только ночью, но и днем.

Немцы заставляли евреев ползать вдоль веревки. Уголовники заставляли их бегать на скорость от реки и обратно.

Уборных не было, ходили под себя. В этом лагере были только мужчины.

Вскоре русский лагерь был распущен. Евреи были определены в гетто, мужское еврейское население согнали в минскую тюрьму. Из тюрьмы их вывозили пачками по 100, примерно, человек и расстреливали.

Для того, чтобы настроить против евреев остальную часть населения, немцы говорили, что все зверства, расстрелы, издевательства вызваны тем, что евреи

поджигают дома, мешают немецкой армии проводить в жизнь свои мероприятия, что евреи — ставленники Москвы. Не будь их, было бы хорошо жить.

К этому времени немцы издали приказ о создании для евреев гетто, так называемой «жидовской рады во главе с жидом Ильей Мушкиным». В обязанности Мушкина входило проводить в жизнь все постановления и распоряжения немецкого командования по отношению к еврейскому населению.

Еврейская рада, возглавляемая Мушкиным, помещалась в здании Кагановичского райкома партии. Эта рада по распоряжению немецкого командования проводила регистрацию всего еврейского населения.

В это же время по приказу немецкого командования было создано гетто. Под гетто отвели Юбилейную площадь и ближайшие улицы: Сухую — район еврейского кладбища, Димитрова, Раковскую до Нижнего базара, Республиканскую, часть Танковой и ряд других. В основном гетто было сконцентрировано в районе Юбилейной площади и ближайших улиц.

Вокруг гетто согласно приказу должна была быть воздвигнута каменная стена в течение кратчайшего времени.

Началось переселение: русские, жившие на улицах, отведенных под гетто, перешли в еврейские квартиры вне гетто, а евреи, которые имели квартиры на улицах, не вошедших в этот список, пошли в гетто. Переселение приказано было провести за несколько дней.

Одновременно с созданием еврейской рады, была создана Минская городская управа для административного управления остальной частью населения и биржа труда.

По приказу военно-полевой комендатуры все население Минска — мужчины, женщины и дети — должны были пройти регистрацию на бирже труда с целью, якобы, обеспечения работой, хлебом и т.д.

Вот, что гласил приказ: «В случае неявки на регистрацию и отсутствия карточки безработного, виновные в этом будут сурово наказаны». Этот приказ был отдан вторично и в третий раз, так как большая часть населения на бирже не регистрировалась (карточки тем не менее ряд людей имел).

Руководство городской управы — это ставленники немцев, белорусские нацдемы, которые были привезены вслед за приходом немцев. Так, например, Демидович-Демидецкий, доктор Ивановский, Кайзер и ряд лиц из местного населения — русские, белорусы. Основной упор делался на местных немцев. Все местные немцы, которые работали в ассенизационном обозе и в других учреждениях и предприятиях, оказались немецкими агентами и заняли соответствующие места в немецкой военно-полевой комендатуре и разных немецких учреждениях.

Истинное назначение биржи труда было — выяснить количество населения, оставшегося в городе с целью выловить и уничтожить советских работников, так как полевая комендатура располагала рядом документов. Советские работники на эту удочку не пошли и не регистрировались.

По приказу военно-полевой комендатуры все население, кроме паспорта, должно было иметь карточку с биржи труда. Виновные строго наказывались.

Администрация тюрьмы комплектовалась из лиц немецкой национальности и из числа бывших работников тюрьмы. Было объявлено о немедленной явке всех ранее работавших в тюрьме и им приказано приступить к работе.

Нам стал известен текст секретного приказа. Содержание его следующее: «По лагерям военнопленных произвести отбор людей украинской национальности с целью отделения их от остальных военнопленных, предоставления им несколько лучших условий жизни, обмундирования, питания и организации из них батальона СС — «Полицай Украины». Общее название — «украинские батальоны». Им в дальнейшем были предоставлены права почти наравне с немецкими солдатами по питанию и правовому положению.

Отбор производился так. В лагерях военнопленных отбирали пленных, имевших более или менее свежий вид (не падали с ног). Немцы спрашивали: «Украина?» и все равно, и белорусы при отборе попадали в эти украинские батальоны. В них были русские, белорусы, но преобладающее большинство украинцы.

Вскоре появился приказ о создании Белорусской городской полиции, во главе которой стоял бывший студент Белорусской консерватории музыкант радиокомитета Васильев. Это относится к моменту вступления в город Минск гражданских властей.

Во главе управления городом был поставлен белорусский нацдем Демидович-Демидовский, привезенный из Варшавы. Он и комплектовал штат управы, были созданы отделы — промышленный, торговли и пр.

ВОПРОС. Какую роль играл Гаусман[11]?

ОТВЕТ. Гаусман с первых дней находился отдельно от всей публики, вращался в медицинском мире, организовал в клиническом городке госпиталь для немцев и, поскольку мне известно, участия в административном управлении города не принимал.

В городе Минске была организована редакция газеты для белорусов, которая называлась «Минская газета». Редактировал ее в первые дни Синкевич — бывший нацдем, привезенный немцами.

С момента создания городской управы и биржи труда началась паспортизация. Население, не имевшее паспортов, могло получить их на основании каких-либо документов, дающих на это право. Если паспорт сгорел или не имеющий паспорта является беженцем, достаточно было поручиться 2—3 человекам, знающим его в лицо, выдавался паспорт с красной полоской, служащий 6-месячным удостоверением <…>

ВОПРОС. Расскажите подробней о немецких зверствах и о гетто, организованном немцами в Минске.

ОТВЕТ. Гетто было организовано в первые дни прихода немцев в Минск. В гетто немцы собрали еврейское население города Минска и ближайших районов, всего 80 тысяч человек. Размещались по 5—6 семей в комнате, спали вповалку.

Созданной по приказу немецкого командования еврейской управе было приказано собрать с еврейского населения столько-то золота и серебра. Еврейское население собрало не полностью. Было предложено также сдать никелированные кровати, матрасы, постельное белье.

После первого «сбора» было приказано собрать ценности еще раз. Тут пошли в ход русские деньги бумажками. Чтобы заставить еврейское население выполнить этот приказ, большое количество мужчин содержалось в тюрьме в качестве заложников.

Профессор Ситерман все свои деньги отдал беднякам, которые их не имели. Рассказывают, что немцы уничтожили профессора Ситермана после больших надругательств и издевательств.

После того, как сдавалось некоторое количество денег, кровати, матрасы, хорошая мебель, немцы выпускали некоторую часть заложников из тюрьмы, а часть расстреливали.

По приказу немецких властей евреи должны были носить желтые заплаты, нашитые на груди и на спине.

Еврейскому комитету было приказано сгонять евреев на работы, вначале по уборке города, трупов, по разборке развалин. После того, как эти работы были закончены, немцы разделили еврейское население на категории и интеллигенция — специалисты, работавшие, как врачи, в русских амбулаториях или инженеры, работавшие на предприятиях, – были уволены. Так, например, уволена из русской поликлиники врач Гурвич, а также ряд других.

Я говорил с женой профессора Иргера. Ей удалось уйти из гетто к санитарке, которая работала с ней в течение многих лет. Эта санитарка и достала жене Иргера метрику, по которой она получила паспорт и достала документ младшей дочери. Старшая дочь работает переводчицей в одном месте и оказывает нам большую помощь. Работает она под фамилией Иванова, выдает себя за москвичку. Младшая девочка Иргера однажды переносила шрифты, когда перебрасывали типографию с одного места на другое.

В гетто осталось еврейского населения мало — тысяч 20, а может быть меньше, точно не знаю. После первой переписи в гетто было 80 тысяч человек. После каждого погрома население гетто сильно уменьшалось.

Вначале производились расстрелы, не носившие массового характера: за невыход на работу, за нежелание выполнять немецкие распоряжения, за якобы украденную булку хлеба и т.п.

Массовые расправы с населением гетто были в период Октябрьских торжеств. Во время этого погрома было уничтожено свыше 12 тысяч или 16 тысяч человек сразу. Обычно погромы приурочивались к праздникам: к Новому году, майским торжествам и т.д. В общей сложности было уничтожено тысяч 70.

В Минское гетто немцы привезли большое количество немецких евреев. На территории гетто им отделили несколько улиц. Таким образом, в гетто было создано еще одно гетто для немецких евреев. Немцы не хотят, чтобы эти два гетто общались между собой, так как боятся, что русские евреи расскажут им правду о жизни евреев в СССР. Погромы устраивались даже и на немецких евреев. Между прочим, немецким евреям сказали, что их везут в Палестину.

Нет слов и нет красок, для того чтобы описать весь ужас погромов. Вот кратко, как расстреливали евреев в бывшем помещении 6-й колонии НКВД на Танковой улице, за железнодорожным переездом[12] . Мне это известно со слов солдата украинского батальона.

Это был первый массовый погром. В колонию привезли евреев из гетто на машинах, держали сутки во дворе под навесом. Затем приказали снять с себя всю одежду и привели к краю вырытых ям. Выстроили в шеренгу 1-ю роту украинского батальона СС полиции, которая стоит в Минске по Широкой улице в здании казарм 38 кавполка, и приказали солдатам открыть огонь. После первой команды не было ни одного выстрела. Подали вторую команду «огонь!» и раздались 2—3 выстрела в воздух. После этого немцы отвели украинцев, привезли две бочки спирта и напоили их. Затем вторично построили украинцев, за их спинами встали немецкие автоматчики. Тогда украинцы открыли огонь.

Многие, стоявшие у ямы, просили: «Окажи услугу, бей в голову, чтобы не мучиться». Детей раздевали. Финны, литовцы и немцы ломали детям хребет и бросали в яму. Многих бросали живыми. Одному мальчику по имени Лева удалось вырваться из ямы. Когда кончилась эта бойня и все ушли, то наши военнопленные, которые содержались в 6-й колонии, подошли к яме. Мальчик позвал: «Дядя!». Пленный испугался, потом подошел ближе и вытащил мальчика из ямы, пересадил через забор. Мальчик через поле и огороды пришел к месту, где мы жили. Мы его вымыли, накормили, и он пошел в гетто. О дальнейшей его судьбе я не знаю.

Одна девушка еврейка, студентка медицинского института, не ожидая своей очереди, повесилась. Немцы очень удивлялись и говорили, что это единственный человек с такой силой воли, а остальные — стадо баранов. Не все, брошенные в ямы, были добиты. В город начали стекаться тяжелораненые, женщины с детьми, обезумевшие матери несли на руках маленьких мертвых детей.

В первый погром у ям в 6-й колонии, за городом на Комаровке, было уничтожено свыше 12 тысяч человек.

Зимой был вторичный погром, продолжавшийся три дня. Истреблялось еврейское население внутри гетто, на квартирах — резали, кололи, стреляли. Полицейские и украинская полиция оцепили гетто, а внутри орудовали СС. Они бросали гранаты в дома, где двери были закрыты. Из гетто группами вывозили людей, имущество.

В 12 часов дня по Танковой улице гнали колонну евреев. Одна мать прижимала к груди крошечного ребенка, завернутого в пеленки. Идя по скользкой улице, она споткнулась, ребенок упал в снег. Мать хотела поднять ребенка, но офицер ударил ее и погнал дальше. Пеленки развернулись, ребенок лежал, посиневший от холода. Проходившие мимо русские женщины, подняли крик: «Убейте лучше ребенка, зачем мучить». После выражения бурного протеста со стороны женщин, офицер подошел и выстрелил в ребенка три раза.

В 12 часов ночи на 26 августа 1942 г. гетто вновь было окружено[13] . Всю ночь, утро, день и последующие ночь и день шла кровавая бойня. Людей кололи, резали, стреляли там, где их заставали — на улицах, в квартирах. Уцелели только те специалисты, которые были оставлены на предприятиях, а не вышедшие на работу по болезни были уничтожены.

На этот раз были расстреляны все члены еврейской управы, уничтожены еврейские полицейские, которые несли охрану гетто и всячески помогали немцам в проведении всех их приказов.

Для того, чтобы люди не общались друг с другом, не ходили с одной улицы на другую, немцы выдали номера для учета, которые соответствовали определенным

улицам. Днем после выхода на работу немцы устраивали облавы и расстреливали тех, кто оставался дома. По доносам расстреливались жители целых домов. Выдача номеров была произведена также и в связи с тем, что в гетто существовала подпольная организация, которая отправляла людей в партизанские отряды через городской подпольный комитет.

Евреи из-за проволоки меняли свои пожитки на продукты у крестьян. Немцы устраивали обыски и отбирали продукты, так как был специальный приказ, запрещающий подходить к проволоке и доставлять живущим в гетто продукты питания.

ВОПРОС. Какие зверства были по отношению к русскому населению?

ОТВЕТ. Если на ту или другую семью доносили, что она является семьей бывшего советского служащего, или, что тот или иной гражданин являлся советским работником, полностью уничтожалась, дома сжигались.

В Минске были случаи повешения. На груди повешенных немцы прикрепляли таблички с надписью: «Мы партизаны, стрелявшие в немецких солдат». Были повешенные на воротах дрожжевого завода, на Суражском рынке, в сквере около драматического театра, около управы. Все дороги из Минска и в Минск были усеяны повешенными с аналогичными табличками. Какой процент из них были партизанами, трудно сказать. Я сомневаюсь в том, что все они были партизанами, так как, когда по улице Ворошилова подожгли склад, где находилось немецкое горючее, немцы устроили облаву на улицах, хватали первых попавшихся и вешали с такими же надписями. Большая часть повешенных — невинные люди, которых немцы повесили для того, чтобы запугать население.

В последнее время были часты случаи расстрелов. Приблизительно в последних числах августа мой товарищ, работавший в тюрьме, сказал, что была очередная разгрузка тюрьмы. Вывезли 9 машин людей. Расстреливали обычно за выставкой в лесу. Тяжелораненых клали в яму вместе с убитыми и засыпали землей.

В последний погром (26—29 августа)[14] немцы стаскивали трупы в ямы, посыпали каким-то порошком и сжигали.

В начале войны первая мера репрессий со стороны немцев была следующая: немцы пробовали натравливать уголовный элемент и население на евреев. Были случаи, когда шайки бандитов пробирались в гетто и устраивали резню. В дальнейшем этого не было.

ВОПРОС. Как реагирует население на репрессии немцев?

ОТВЕТ. Население морально убито. Некоторые группы лиц с отсталыми взглядами говорят: «Так и надо, они нашей крови порядком попили». Или, когда военнопленных гнали с Комаровки в расположение лагерей, и на пути от Комаровки до товарной станции валялось свыше 1,5 тысяч убитых немцами военнопленных, находились такие, которые говорили: «Так им и надо. Зачем пошли воевать». Но такие случаи единичны.

Немцы стреляли в военнопленных разрывными пулями в лицо, чтобы нельзя было узнать своего знакомого или родного. Вся дорога от Минска до расположения лагеря была устлана трупами. Немцы производили массовые расстрелы военнопленных в лагере, который находится в Масюковщине (бывший военный городок в 5 км от Минска).

Необходимо отметить, что малейшая неудача немцев на фронте моментально сказывалась на евреях и военнопленных. Как только начинается избиение, это значит, что на фронте немцам плохо. Барометр кровавый, но безошибочный <…>

## Данные о себе

Бромберг Рафаэль Моносович, 1916 г. рождения, уроженец Одессы, воспитывался в семье инженера Бромберга, мать — сербская цыганка, отец — еврей. Член ВЛКСМ с 1935 г.

В 1929 г. окончил школу, с 1929 по 1930 гг. работал каменщиком и штукатуром, в 1931 г. поступил и в 1934 г. окончил индустриальный техникум и получил назначение техником-конструктором на станкостроительный завод им. Ворошилова в Минске. В 1935—1936 гг. работал на станкостроительном заводе им. Ворошилова в качестве техника-конструктора станкостроительной группы у инженеров Шлопакова, Волчека и инженера Фефера. Работая на заводе Ворошилова, организовал и руководил первым молодежным комсомольским джаз-оркестром. На олимпиадах художественной самодеятельности был премирован.

В 1936 г. поступил в Минский государственный политехнический институт, занимался до 1938 г. на механическом факультете. В 1938 г. я уехал с джазом на гастроли от Смоленской государственной эстрады. В 1938—1939 гг. гастролировал по ряду городов, давали концерты в гражданских и воинских организациях.

В 1939 г. вернулся в Минск и поступил в Белорусский государственный юридический институт, где занимался до 1941 г. Перешел на 3 курс института, получал персональную стипендию за отличную учебу. По общественной линии имел нагрузку в качестве культработника нашего фабкома. Дважды был в Москве на олимпиадах художественной самодеятельности.

В период войны, с первых дней начала военных действий, после неудачного отхода из Минска, попал в лагерь, откуда ушел на 8 день. Вскоре встретился с быв. пом. прокурора Минска Антониной Соколовой — деканом заочного факультета юридического института, секретарем парторганизации нашего института Марией Осиповой и студентом, моим однокурсником, М. Столовым. Отсюда начинается моя непосредственная подпольная деятельность.

После я связался с подпольным городским комитетом и работал по его заданиям.

Записано с моих слов правильно —
партизан 3-го отряда бригады Никитина Бромберг

Беседу проводил:
Начальник информационного
отделения 2-го отдела Кравченко

Верно

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1299. Л. 56—73. Копия.

**№ 2. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с партизанами бригады «Дяди Васи» Е.П. Майзлес и Ф.Ш. Гурвич**

**29 октября 1942 г.**

Беседа с партизанами бригады «Дяди Васи» —
Майзлес Ентой Пейсаховной и Гурвич Фридой Шлемовной

29.10.1942 года
дер. Хворостьево

1. Расскажите о первых шагах немецких оккупантов в г. Минске.

В Минск регулярные немецкие войска вошли 28 июня. Ни пехоты, ни конницы, ничего не было видно, а видимо, вошли только мехчасти.

Первыми шагами немцев в городе были следующие:

Обращение к белорусскому народу на трех языках: на русском, белорусском и немецком. Немцы говорили, что они пришли освободить белорусский народ от большевиков, и чтобы докладывали о коммунистах. За каждую голову будут давать по 100 рублей.

Потом они установили время хождения по городу — сначала до 5 часов вечера, потом до 7. Далее был издан приказ о регистрации всего еврейского населения. В первый день я, Майзлес, не пошла регистрироваться, а просто пошла посмотреть, как это происходит. Регистрация происходила в помещении «Лесбела» в районе Кагановичского райкома. Собрались большие толпы евреев для регистрации, причем были пущены немецкие агитаторы в эти толпы, которые на вопрос евреев, для чего проводят регистрацию, отвечали, что это нужно для того, чтобы устроить дело с питанием и определить численность населения. Многие этой агитации верили, и в первый же день создалась очередь перерегистрироваться. Немцы, видя, что за один день они не проведут перерегистрацию, продолжили ее до 25 июля.

Был также издан приказ, на основании которого мужчин всех национальностей забрали в лагерь. Мужчин было десятки тысяч. Дело в том, что военкоматы не успели провести мобилизацию по городу, поэтому остались неотмобилизованными много мужчин. Лагерь был в 8 километрах от города — в Дроздах. И здесь всех мужчин разделили по национальностям.

В той организации, где я, Майзлес, работала до войны, входило геологоуправление, где у меня был инженер, которого немцы выпустили, и он мне сказал, что евреев из лагеря не выпустят. Сам он русский. Затем у этого инженера была немецкая «штаб-квартира», где всегда были немецкие офицеры, которые исключительно говорили по-русски.

Через некоторое время из лагерей начали выпускать домой, а всех евреев отвели в тюрьму. Когда евреев отвели в тюрьму, то, по заранее заготовленному списку, 90 человек отобрали и расстреляли, а остальных систематически избивали, как на прогулках, так и в тюрьме.

Специалистов в количестве 400 с лишним человек из лагерей куда-то отправили. Среди них были: инженеры, студенты, бухгалтера и т.д.

В связи с тем, что находившимся в лагере в Дроздах кушать не давали, даже не давали воды, некоторые жители города Минска приносили своим родственникам в лагерь продукты. Уголовники, выпущенные из тюрьмы и находившиеся в это время в лагере и другие элементы набрасывались на эти продукты, и получалась внутренняя междоусобица между находящимися в лагере.

Следующее распоряжение, это регистрация всего трудоспособного населения для мобилизации на работу всех: и мужчин, и женщин с 18-летнего возраста <…>

2. Расскажите, как было организовано гетто в г. Минске и внутренний режим в гетто.

Приказом от 9 июля уже 25 июля 1941 г. все еврейское население должно было быть в гетто. Под гетто было отведено 36 улиц. В этом же приказе говорилось, что решением коменданта города создан еврейский комитет, в который входит Мушкин — председатель еврейского комитета и еще пять евреев, и что до 25 июля должно быть перерегистрировано все еврейское население. Все евреи должны переселиться в район улиц, указанных в списке, и что на каждого жителя гетто полагается не более двух метров жилплощади. Этим приказом разрешалось менять квартиры с русскими. Начался обмен. Переселение в городе немцы оттянули до 1 августа, так как сами не ожидали, что окажется так много еврейского населения. В приказе было сказано, что гетто будет обнесено большой стеной, и что это будет сделано руками самих евреев. К 1 августа все еврейское население переселилось, потому что начались облавы еврейского населения и насильственное выселение. У всех было такое настроение, что это временное явление, поэтому все переселились. Стену им построить не удалось. Была специальная комиссия, которая осматривала улицы, чтобы они не соединялись с другими, т.е. каждая улица была отдельно от других. Таким образом, Раковская улица была отделена, потом выделили Республиканскую. Эти улицы выделили так, чтобы оставить для себя проезд, а с обеих сторон была колючая проволока параллельно домам. Таким образом, получалась клетка в человеческий рост. В этом приказе было установлено, чтобы евреи носили сзади и спереди на правой стороне пальто или одежды лату, диаметром в 10 сантиметров, причем обязательно желтую. Часто полицейские измеряли размер латы, и если лата меньше или больше 10 сантиметров, за это наказывали. Приказом было предусмотрено, что если поверх пальто одевался платок, то лату должны были носить на платке.

Лицам, находившимся в гетто, было запрещено вступать в брак. Имел место факт, когда один инженер радиозавода, еврей, женился. За это он был публично расстрелян вместе с женой. На радиозаводе имел место расстрел 8—10 евреев, якобы за то, что они не носили предусмотренных приказом желтых лат.

У евреев, привезенных с территории Германии в Минск, была на правой стороне (спереди) нашита желтая шестиконечная звезда, с надписью в середине звезды «юде».

Немцы начали проводить в Минске стерилизацию. В частности, нам известно по рассказам бывшего старшего следователя полиции Вальтера Ганса, что им лично были выданы два документа на стерилизацию двух женщин-евреек, которые были замужем за русскими. Когда мужья их — русские подняли ходатайство

об оставлении их вне пределов гетто, то перед ними был поставлен вопрос о даче согласия на стерилизацию. Они согласились, и стерилизация была проведена. Причем, одна из них была в возрасте 23 лет. Об этом же я, Майзлес, слыхала разговор одного врача в отделе здравоохранения гетто.

Немцы проводили массовые облавы на мужчин, проживающих в гетто. По улицам и квартирам пускались группы немцев и при встрече какого-либо мужчины, его ставили лицом к стене — руки за голову и через каждые 10—15 минут немец, который их охранял, стрелял вверх. Облавы были 14, 16, 24, 26 и 31 августа 1941 г.

После августа месяца народ начал задумываться над тем, что нужно прятаться от облав. До 26 августа выловили около 15 тысяч мужчин, где они и сейчас не известно. Мужчин моложе 14—15 лет и старше 45 лет не брали.

В это же время на улице Широкой был создан специальный еврейский лагерь[15]. Назначение этого лагеря — объединение в рабочие батальоны. Первое время члены семьи могли прийти и посмотреть на работающего родственника, но потом это запретили. Работникам лагеря выдавали по 200 граммов хлеба в день.

Весь сентябрь месяц до 6 ноября было тихо. Гетто снабжалось хлебом через управы, разрешали обмен вещей на продукты. Население из деревень приходило к нам на рынки с продуктами, но потом немцы запретили обмен и по дороге на рынок отбирали продукты.

В первое время немцы даже создавали видимость внимательного отношения к гетто. Снабжали гетто хлебом через горуправы.

В гетто были созданы учреждения медпомощи, детские больницы, отпускали для больниц продукты. Работали здесь еврейские врачи. Для детей даже отпускали дополнительное питание. Не работающим — пайки не отпускали. Детям — через детскую амбулаторию отпускали молоко[16].

6 ноября в гетто начался шум — забирают 700 семей специалистов и вывозят из гетто на Широкую улицу в лагерь, в том числе и всех работников еврейского комитета гетто. Все поняли, что что-то будет 7 ноября, тем более, что до нас доходили слухи о погромах в местечках. Возник вопрос, по каким улицам?

Нам переводчик, работающий у немцев сказал, что не все улицы будут сразу подвергнуты погрому, в связи с чем в гетто началась паника, люди начали бегать из одной улицы на другую.

7 утром, в семь часов утра немцы начали бить прикладами по окнам и кричать — «выходи»! Стоял шум от большого количества машин. Мы не могли представить, что на погром повезут на машинах. Затем стали заходить в квартиры и выгонять жителей на улицу и сажать в автомашины. На погром гнали партиями: мужчин, женщин, стариков, детей. А того, кто не мог двигаться, расстреливали на месте. Часть сажали на машины и отправляли, а часть осталась на хлебозаводе. Очевидно, у них был план, сколько подлежит уничтожению в этот день. Тех, кого оставляли во дворе хлебозавода как резерв, ставили на колени лицом к домам, с заложенными руками за голову. А остальных массами возили на машинах к месту расстрела. Причем немцы пошли на такую провокацию, что всем отправляемым на машинах насильно вручали красные знамена и заставляли петь «Интернационал», желая этим показать, что это везут людей на расстрел за попытку организо-

вать демонстрацию. Увезли на машинах около 14 000 человек за город[17], где заранее были приготовлены ямы. Стреляли в толпу, кто раненый, а кто убитый, а кто живыми сами бросались в яму. А вечером некоторые вылезали из ям и приходили обратно. Особенно приходили обратно дети. Уйти можно было только в гетто, так как население города в дома не пускало, а некоторые даже выдавали евреев.

Резерв же, собранный во дворе хлебозавода, после двух часов дня отпустили по домам. Первыми помощниками у немецких оккупантов были немцы Поволжья — жители Минска. Они помогали немцам различать: кто еврей, а кто нет. 8 ноября в восемь часов утра всех евреев, которые были возвращены со двора хлебозавода, выгнали и сказали, что можно взять с собой весу не более 25 килограмм на человека. Я, Майзлес, спросила прямо у часового, зачем брать с собой 25 килограмм весу, вы же нас все равно ведете убивать, но последний мне ответил, что мы везем не убивать, а просто нам нужна эта площадь. Улицы были освобождены и в эти освобожденные улицы немцы привезли евреев из Гамбурга, которые заняли освобожденную площадь и еще ряд улиц.

20 ноября повторилось то же самое, что 7 ноября, только на других улицах. Сюда вошли: Татарская улица, Санитарный переулок и целый ряд других. Это было сделано днем. В результате операции 20 ноября было расстреляно больше 8000 человек.

После 20 ноября опять жизнь вошла в нормальную колею. Еврейский комитет по-прежнему начал посылать на работу, ограждение улиц продолжалось, но медленно <…> После погрома 20 ноября 1941 г. всю зиму, вплоть до 2 марта, никаких крупных эксцессов в гетто не было

В период с 20.XI до 2.III-1942 г. была произведена перерегистрация жителей гетто по специальностям как-то: сапожников, портных, столяров и других специальностей. Для каждой специальности были отведены улицы, и все жители определенных специальностей должны были переселиться на свои улицы. При переселении жители гетто проходили через центральные ворота, и немцы видели куда больше народа идет, и устраивали на эти районы ночные нападения. Кроме того, по ночам систематически вырезали семьи.

Кроме физического уничтожения евреев немцами была наложена контрибуция — 2 миллиона рублей деньгами и 10 кг золота. Собирали контрибуцию по 30 рублей с человека. Немцы взяли 300 человек заложников для того, что если денег не внесут, то этих людей — 300 человек — расстреляют. Деньги были собраны полностью. Золото полностью собрано не было, и поэтому вместо золота внесли деньгами и облигациями внутреннего займа 1938 года. После выполнения первой контрибуции была наложена новая контрибуция — с каждого трудоспособного, начиная с 15-летнего возраста, по 100 рублей, которая также была выполнена. Затем был издан приказ о сдаче всех своих вещей и мебели, оставив себе только пару белья и койку. Это должен был сделать и сделал еврейский комитет. При сопротивлении комитет доносил Рихтеру (коменданту гетто, немцу), а последний за это расстреливал.

Дело с питанием обстояло очень плохо. Хлеб выдавали не регулярно и поэтому люди начинали умирать с голоду.

Евреи, привезенные с Гамбурга, были более истощенными, и здесь их очень много умирало с голоду.

Было еще ряд приказов о сдаче разных ценных вещей, кожи, меха и т.д. Население, думая, что они контрибуциями откупятся, лишь бы не погибнуть, выполняло все немецкие приказы.

Немцы хотели также показать, как население плохо жило при большевиках. Для этого они приезжали на машинах и забирали у населения самые плохие вещи, из которых устроили выставку в Доме правительства. Эту выставку показали в киножурнале.

Комендант гетто Рихтер, немецкий ставленник, внешне старался показывать, что он очень чутко относится к нуждам населения, к нему приходило много женщин с просьбами и он почти все просьбы выполнял, но с другой стороны он лично во время погромов лазил по чердакам с еврейскими полицейскими, вытаскивал евреев в колонну и расстреливал их.

Часто немецкие офицеры приходили в дома и забирали любые вещи. Брали белье мужское, женское и детское, брали обувь всякую. Обыски производили под видом того, что они якобы ищут оружие.

Также брали жиры, сахар, белый хлеб. При этом показывали внешне, что они вежливы, просили открыть шкаф или чемодан, и если ему даже нравился чемодан, он и его забирал. Брали особенно чулки, носки, карандаши, бумагу, конверты, портфели. Некоторые оставляли за это несколько сигарет или пачку махорки.

2 марта 1942 г. мир не видел таких издевательств, какие происходили в этот день <…>

2 марта в 11 часов начался погром. У меня, Майзлес, было удостоверение о том, что я работаю. При проверке документов у меня спросили, почему я не на работе, я ответила, что у меня болит зуб, но со мной также была Шуссер, член партии с 1920 г. и еще пять человек, которые также не пошли на работу, в результате чего прибывший каратель — литовец не поверил нашим мотивам. Тогда нам было приказано, чтобы мы взяли с собой груз весом в два килограмма. Мы пошли в свою квартиру брать груз в два килограмма весом. В этой комнате было, где прятаться. Мы заскочили в место, отведенное для прятания, где было уже 17 человек. Я открыла дверь, и мы с Шуссер вошли в это сховище. Хозяйка квартиры — старушка, осталась в квартире, закрыла наше сховище и погибла в этой комнате, но не выдала нас — 19 человек. Старушка была мать коммунистки (жены коммуниста Мерсона).

Каратели в этот день не могли набрать стариков 5 тысяч человек. Проверяли в каждой квартире по пять раз, лазили по чердакам. Каратели вывели 300 человек детей из еврейского детского дома. Здесь были дети с возраста двух месяцев до тринадцати лет, родители которых погибли. Маленьких детей из дома не выводили, а пользуясь тем, что день был морозный и дети лежали на постелях, каратели раскрыли окна и двери и дети замерзали. Здесь же вывели коммунистку Гаврон-скую (бывший директор санатория «Новинки»), Курлянд (председатель областного управления Медсантруд), бывшего секретаря партийной организации фабрики имени 8 марта, заведующую детским домом коммунистку Флейшер, которая и

раньше была заведующей этого дома. Вывели всего около 10 человек. Весь обслуживающий персонал — 29 человек, из коих 26 человек расстреляли. Только трем человекам удалось скрыться. Всех работников детского дома и детей загнали в руины сгоревшей обойной фабрики и здесь издевались над ними, а детей брали за ноги и ударяли головой об стенку. По улицам гетто валялось очень много трупов. После этого еврейских полицейских[18] заставляли собирать трупы и отвозить на место свалки[19]. У места свала еврейским полицейским дали в руки винтовки и эту картину сфотографировали для того, чтобы показать, что, якобы это делают сами евреи. Здесь же собрались дети, которым немцы бросали конфеты, и эту «инсценировку» зафотографировали. В день 2 марта специалистов не трогали, но всех чернорабочих, даже из рабочих колонн увозили и расстреливали. Здесь погибла сестра заместителя председателя горсовета Каждана — коммунистка, инженер-геолог Каждан.

2 марта 1942 г. мы лично наблюдали восемь фактов, когда матери душили своих детей, в связи с тем, что прячущиеся взрослые матерей с детьми не пускали в места, где прятались, боясь, что дети своим криком их выдадут.

2 марта погибло очень много людей, и которых мы встречали до 2 марта, не встречали уже после.

Вышли мы из гетто 12 марта[20]. За эти десять дней ничего существенного там не произошло.

3. Управление гетто

Внутренним органом управления гетто был еврейский («жидовский») комитет. Председателем комитета был Мушкин — минский житель, беспартийный, работал в последнее время зам. директора горпромторга; заместителем его был некий Иоффе, приезжий, не минчанин. При комитете были созданы: отдел труда, отдел снабжения, полиция (фамилию начальника полиции не помним), отдел опеки, начальником отдела опеки была Столова — бывший преподаватель немецкого языка в одном из институтов; паспортный отдел, пожарный отдел. Комитет этот был назначен приказом коменданта города в первых числах июля 1941 года.

Функции полиции заключались: охрана улиц, охрана входа и выхода из гетто, изъятие вещей, организация облав для отправки на работу, помощь немцам и литовцам во время облав на жителей гетто в период погромов.

Комитет организовал мастерские: шапочную, сапожную, портняжную. Эти мастерские помогали населению гетто тем, что устраиваясь там на работу, люди имели возможность получать хлеб. Часть продукции отдавалась немцам. Эти мастерские многое сделали для партизан, в частности, шили теплые шапки, перчатки, бурки и др.

После погрома 2 марта комитет до 12 марта к работе не приступал и полномочий от генерал-комиссариата для продолжения своих действий не получал, так как после подобных операций против евреев этот комитет каждый раз должен был получать новый мандат от генерал-комиссариата для продолжения своей работы.

Во время еще нашего нахождения в гетто председатель комитета Мушкин был немцами арестован, его держали в лагере, издевались над ним, но дальней-

шую его судьбу мы не знаем[21] . Зав. отделом труда первое время работал Серебрянский, который ранее работал на физкультурной работе, затем был органами советской власти осужден. После освобождения из тюрьмы во время переселения он оказался в гетто и был назначен членом комитета. Серебрянский имел привычку избивать отдельных рабочих. По рассказам рабочих Серебрянский был связан с подпольной организацией города. Серебрянский большую часть продукции из гетто отправлял партизанам. Он был инициатором пошивки теплого белья для партизан, в котором партизаны очень нуждались. Немцы Серебрянского повесили[22] .

Вход в гетто не евреям не разрешался. Вход охранялся охраной немецкой, еврейской и русской.

Возле помещения комитета был установлен «позорный столб» для лиц, уклонявшихся от выхода на работу. При невыходе кого-либо на работу, последние наказывались плетью на улице, на виду у всех у «позорного столба».

20 ноября во время погрома был расстрелян бывший председатель центрального управления союза швейников Белоруссии Маршак с семьей, Юдковский, член партии, бывший директор Бобруйской швейной фабрики и его жена Бендитова, член партии. Также был расстрелян член партии Каган Миша, который ранее работал директором гастрономов и его заместитель — Сагалович.

4. Некоторые данные об административном устройстве города Минска

Ко времени нашего ухода из гетто в городе Минске существовала горуправа. Были отделы: снабжения, транспортный, здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, финансовый отдел, торговый, отдел труда и при нем биржа труда. Причем, при отделе снабжения был подотдел снабжения гетто. При бирже труда горуправы существовал отдел по использованию трудоспособного еврейского населения на работах.

Работающий в отделе здравоохранения профессор Гаусман выдал немцам профессора Ситермана. Когда врачи Гаусману задали вопрос, почему он выдал Ситермана, последний заявил: «Я ничего не сказал, я только сказал, что он лечил большевиков и комиссаров».

От городской биржи труда в городе, во главе рабочих бригад, старшим работал Моисеевич Леонид Александрович, член партии с 1919 года, орденоносец, бывший заместитель управляющего Главрыбпрома.

Летом 1941 года я, Майзлес, ему написала записку с просьбой прийти ко мне, надеясь установить через него связь с подпольной организацией, тем более, что я с ним была связана до войны, так как работала вместе с ним в Главрыбпроме. Он через бригадира из гетто передал словесно, что он явиться не может и чтобы я явилась к нему.

5. Паспортный режим

До марта месяца обмен паспортов не производился. В гетто немецкой управой нам выдавались свои немецкие паспорта — обыкновенные листы, написанные на немецком и белорусском языках. В городе в паспорта вносилась отметка о районе и месте жительства, согласно домовой книге. Там, где не было домовой книги, заводились новые и производилась прописка в домовой книге с отметкой в паспор-

те. Лицам, заявлявшим об утере паспорта, выдавались временные паспорта с красной чертой наискось, так называемый «сомнительный паспорт». В каждом доме избирались домкомы, которые отвечали за правильное ведение домовой книги, своевременную прописку, взимание квартплаты и недопущение проживать непрописанных лиц в этих домах.

6. Работа промышленности города Минска

На авиазаводе делали железобетонные плиты, которые вывозились в глубокий тыл или туда, где делались укрепления. Рабочих на этом заводе более 300 человек. Во время нашего пребывания в гор. Минске, авиазавод немецкие власти не достраивали. Радиозавод работал в одну смену, все цеха изготовляли радиоприемники, работали еврейские рабочие, которым зарплату не выплачивали. Проход на завод был по специальным пропускам. Квалифицированные рабочие жили не в гетто. Продукция полностью вывозилась.

Завод имени Ворошилова не работал. Там было человек 40—50 не больше, которые грузили имеющийся на заводе железный лом для отправки на другие заводы. Ремонтных мастерских не было. В автодорожном техникуме использовались мастерские, где производили ремонт танков. На заводе «Большевик», кроме засолки кож, привозимых с боен всей Белоруссии, никаких других процессов переработки не было. После засолки эта продукция замораживалась и отправлялась. На этот же завод привозилась теплая одежда, собранная у населения, и отсюда отправлялась на фронт. Завод имени Кирова был разбит 24 июня 1941 года.

Работала с полной нагрузкой войлочная фабрика. До того времени целый месяц с полной нагрузкой работала обойная фабрика, а затем она была сожжена рабочими фабрики.

Щеточная фабрика работала, но один цех был выведен из строя бомбардировкой нашей авиации.

Швейная фабрика «Октябрь» была превращена в склад, где одновременно шили обмундирование для летчиков. Сюда привозили сырье со всей Белоруссии.

Швейная фабрика «Октябрь» была разграблена местным населением, в том числе и головки швейных машин. Фабрика «Коммунарка» была разбита бомбардировкой 24 июня 1941 года, а население растащило все имущество.

Рядом с «Коммунаркой» был хлебозавод, полностью разрушенный. Население докончило его разрушение.

Электростанция по Советской улице была выведена из строя, МГЭС-2 работала.

Фабрика им. Кагановича первое время не работала. На фабрике Куйбышева работал сапожный цех. С фабрики Куйбышева сапожный цех перевели на фабрику Кагановича, где шили обувь для командного состава немцев и их семей. Все материалы, в том числе и сырье, с фабрики Кагановича вывозились.

7. Организация торговли в городе Минске

Продуктовые магазины были организованы только для немцев по специальным пропускам, закрытого типа. Эти магазины также обслуживали наиболее видных людей из управ. Открытого типа только были организованы комиссионные промтоварные магазины, в которых продавали вещи, отобранные у евреев после погромов. Эти магазины были открыты для всех.

Работал дрожжевой завод. Дрожжи продавались раньше всем, а потом открытая продажа прекратилась и дрожжи можно было купить только на рынке по спекулятивным ценам. Даже патока продавалась только в закрытых магазинах. Работающим выдавали хлеб, соль, иногда патоку в магазинах, создаваемых вблизи предприятия, где всегда были неимоверные очереди. Не работающим хлеба не давали, а только давали хлеб матерям, имеющим детей. В первое время выдавали по 400 грамм на мать и 200 грамм на ребенка, а затем стали выдавать по 200 грамм на мать и 100 грамм на ребенка, да и то с большими перебоями.

Основной вид торговли на рынках — обмен. На рынки привозили все: сало, мясо, картофель, хлеб. Маленькая булочка, приблизительно с килограмм, стоила 130—150 рублей. Причем, охотней брали советские деньги, чем немецкие. Мясо — 200—250 рублей килограмм. Немцы первое время торговле на рынках не препятствовали, а потом у колхозников по дороге на рынок отбирали продукты, особенно сало и вообще жиры. На рынках, в связи с этим, продажа продуктов прекратилась. Многие стали голодать, и со временем голод усилился.

8. Работа школ и культурных учреждений

Школы начали работать не с 1 сентября 1941 года, а с большим опозданием — с октября месяца. Школы работали с большими перебоями. Поработали месяца полтора и работу прекратили. Для каких-то целей немцы начали вылавливать детей из школ. Немцы говорили, что забирают детей на поправку в лагеря. Матери детей в школы пускать перестали. Был случай, когда матери выбили стекла в школе и забрали своих детей. Детям с 1 по 4 класс рассказывали исключительно о том, что Сталин погиб, руководитель теперь Гитлер. В школах стали применять физические меры воздействия, как-то: учеников били по голове линейкой, ставили на коленях на горох. Учебников не было. Для учеников был издан журнал, составленный на сильно искаженном белорусском языке. Детей отпустили на каникулы на Новый год, а затем больше их не собирали. Учителей не было, так как мало находилось таких, которые соглашались преподавать по программе немцев. Ученики старших классов не так поддавались внушениям преподавателей, как ученики младших классов. Школы были платные и, кроме того, школьники должны были привозить дрова для школы. Дети, находившиеся в гетто, не допускались в школы, а также было запрещено создание каких бы то ни было школ в гетто. До 12 марта школы не приступили к работе.

Работал один оперный театр в новом здании. Однажды мне, Майзлес, дочь сказала, что в оперном театре ставится опера «Евгений Онегин», о чем было объявлено в афише. Работали театры днем — начинали в 3 часа дня, так как ходить по городу разрешалось только до 7—8 часов вечера. Вскоре и этот театр перестал работать, так как помещение было занято под госпиталь. В здании этого театра немцы праздновали «взятие Москвы» и вообще здесь устраивали банкеты. Кино работало в Доме Красной Армии для военных только днем. Население, которое не работало, также имело возможность ходить в это кино. Остальные наиболее крупные кинотеатры были разбиты или сожжены в период бомбардировки. Нам известно о том, что в Минске превращен в церковь костел, находившийся на площади Свободы, рядом с городскими часами. В этой церкви систематически распростра-

нялась антисоветская и погромная пропаганда. Существовал хор, по имеющимся сведениям, в большей части из артистов оперного театра. О существовании церкви в клубе имени Сталина нам ничего не известно.

9. Состояние коммунального хозяйства города Минска

Вследствие бомбардировки 24.VI-1941 г. были уничтожены и сожжены следующие улицы: начиная от университетского городка до комаровских вил по Советской улице, все дома уничтожены, за исключением отдельных. Улица Карла Маркса почти полностью сохранилась. Район Ляховки уничтожен до моста. Заводы остались целы. Район улицы Провиантской полностью уничтожен пожаром. Все улицы, прилегающие к району, где театр оперы и балета, уничтожены до завода «Беларусь», по улице Коммунальной сохранились отдельные дома. Пушкинская улица полностью сохранилась, и сохранились все окраины и рабочие поселки. Полностью уничтожены Комсомольская, Пролетарская, Красноармейская от библиотеки имени Ленина до завода имени Кирова. Вокзалы — пассажирский и товарная станция целы. Аэродром тоже цел.

10. О подпольной деятельности в г. Минске

До ноября месяца 1941 года оставшиеся коммунисты прятались, боясь, чтобы их кто-нибудь не выдал. Старались меньше общаться с людьми и ни о какой подпольной работе разговора быть не могло, но встречались отдельные лица, как-то: я, Майзлес, Фельдман Натан — работал в Военторге на складе, недалеко от нас жила Шуссер и к нам приходил Иоселевич — работал по линии инвалидной кооперации. Мы постоянно встречались, но дальше никакой возможности связаться с кем-нибудь у нас не было. Говорили между собой, что неужели с нами никто не свяжется. У всех нас евреев-коммунистов возникла мысль, что всех нас в отдельности по спискам, как коммунистов, искать не будут, а будут выполнять свою программу уничтожения, как евреев. Постепенно мы начали вылезать из своих нор. Стали встречать Умань Нину — работала в Нархозучете, Кисель — работал прокурором Ворошиловского района, Чипчина — директора Дома печати, Оппенгейма — рабочего-печатника. Начали встречаться с печатниками. Встретили Пруслина — последнее время работал преподавателем истории партии в республиканской школе пропагандистов, Пруслину — работника Академии наук, Дуберштейн Соню — инструктор отдела кадров Сталинского РК партии, Фай — работала в ЦК КП(б)Б, Гимпелеву Соню — коммунистку, редактора многотиражки завода «Большевик» (фамилию не помним) и многих других. У всех стоял один вопрос, как связаться с кем-нибудь из города. В редакции типографии у немцев работал Каплан, беспартийный, работал как специалист. С этим Капланом работал русский типографщик по кличке «Андрей». Каплан нам передал, что этот Андрей с ним часто заговаривает о том, что он мог бы помочь вынести шрифт в гетто для того, чтобы выпустить листовки. Андрей часто присылал нам русские и немецкие газеты. Андрей рекомендовал себя типографщиком, а до войны он был в армии старшим лейтенантом и остался на оккупированной территории как «окруженец». Не зная этого, мы опасались с ним связаться, боясь не является ли он провокатором. Однако я осмелилась и сказала Фельдману, чтобы он привел его ко мне. Дня через два Андрей ко мне пришел как покупатель кожаной тужурки. Тужурку он не

купил — мол она ему мала, но мы с ним договариваемся как друзья, так как он якобы хорошо знает моего мужа и мы с ним договорились, что он еще раз ко мне придет. Разговор происходил в присутствии Фельдмана Натана.

Следующий раз он ко мне пришел с подарком — с картофелем, и в этот раз мы договорились, что он будет понемногу приносить шрифт. Договорились о работе. К этому делу мы привлекли и кандидата партии (фамилию не помню). Таким образом мы собрали полную типографию, но мы теперь искали, как бы связаться с горкомом. Каким-то образом бывшему пропагандисту Сталинского РК партии Гебелеву Мише удалось узнать, что в городе есть подпольный комитет, но связаться мы еще не могли. У нас в гетто был еще один коммунист Окунь Зяма. Меня с ним познакомили в гетто как с коммунистом. У Окуня был брат, посредством которого удалось связаться с горкомом. Через пару дней ко мне пришел Фельдман и собрал нас 10 человек, где Окунь Зяма информировал о том, что ему удалось связаться с горкомом партии, и что горком партии ему дал установку — организовать коммунистов по десяткам так, чтобы один о другом не знали, и что руководители десяток не выбираются, а назначаются. Фельдмана назначили секретарем десятка и здесь договорились, что каждый организует вокруг себя, по установке горкома партии, десятки коммунистов, и вокруг этого десятка группируем комсомольцев и тех, кого мы знаем из беспартийного актива. На этом первое наше совещание окончилось.

Коммунистов мы не собирали, а с каждым в отдельности беседовали, узнавали их мнение — что они могут делать. У меня было 10 человек, они, уже зная коммунистов, взяли у себя на учет по 10 человек.

Мы имея в руках типографию, раздобыли радиоприемники и слушали радиосводки Советского информбюро. Я, Майзлес, внесла предложение — выпустить сводку за 5 дней, так как с заводами и предприятиями мы связаны. Сводку сообщить и пустить в ход. После того, как мы пустили сводку по заводам, с нами связался представитель подпольного горкома партии Столяревич[23] — коммунист-еврей, находившийся в гетто. Эта фамилия его не настоящая, его настоящей фамилии мы не знаем по сей день. Находясь в отряде мне рассказал коммунист Добин, который был отправлен в отряд также Столяревичем, что Столяревич литературный работник, работал в Белостоке.

Обстоятельства связи со Столяревичем следующие: все время я, Майзлес, была связана с Гебелевым и Окунем, а потом мне сказали, что меня, как секретаря десятка, вызывает Столяревич, работающий в еврейской больнице в котельном цехе. Столяревич меня знал по информации, а я его не знала. Когда я пришла к нему, он меня сразу же узнал. Я его проинформировала о моей работе и он мне сообщил, что директивы будем получать от него. На этом наш разговор был закончен. В этот раз он нам дал приказ товарища Сталина от 23 февраля, выступление Черчиля по радио. Вообще он нас держал в курсе событий о положении дел на фронтах, также передал листовки за июнь месяц, за 22 августа 1941 года и отдельные передовые статьи газеты «Правда». Однажды Гебелев собрал всех секретарей десятков, где зачитал постановление подпольного горкома партии по оргвопросам и по вопросу о помощи партизанам. На этой беседе поставили перед нами конкретные задачи, в чем мы можем помочь партизанским отрядам.

Я обходила всех членов и давала различные задания по сбору вещей и предметов и все это сдавать Гебелеву, зная, что это все идет для партизанских отрядов. В это время я узнала, что на завод «Большевик» нужна бригада грузчиков для отправки вещей на фронт. Я и член партии Шуссер обратились к Мушкину, чтобы он нас направил работать на завод. Он сообразил в чем дело, но ничего не сказав, послал в отдел труда, чтобы нас направили. В отделе труда нам сказали, чтобы мы составили список. Был составлен список на 20 человек — 10 человек членов партии и 10 человек беспартийных. Во главе бригады ставили беспартийных. Помог нам в этом деле работник отдела труда еврейского комитета Голубь, с которым был связан Гебелев.

И так мы попали на завод. С каждым в отдельности разговаривали и давали задания и предупреждали, чтобы один не знал о другом, что каждый из них должен делать. Здесь мы отгружали для фронта теплую одежду и кожи для переработки. Мы всячески старались вредить. Отгружали теплую одежду без пуговиц и без завязок. Для порчи кож мы ничего придумать не могли. Один из рабочих сапожного цеха фабрики им. Кагановича коммунист Иосилевич нам принес жидкость, которой мы поливали кожу, и кожа после этого становилась негодной для употребления.

Работа Майзлес заключалась в том, чтобы организовать людей подносить кожу, а Шуссер и Гурвич грузили. Когда мы грузили полушубки, в каждом полушубке в кармане мы обнаруживали немецкие листовки —обращение белорусского народа к немецким солдатам, выпущенные немцами. Но мы осматривали каждый карман и листовки выбрасывали. Мы хотели туда вкладывать наши листовки, но листовок нам не доставили, несмотря на то, что нами этот вопрос был поставлен дважды.

Теплые вещи, которые мы грузили, немцы отбирали у населения. В отправляемых вещах были теплые носки, перчатки. Мы каждый день выносили с завода по 40 пар того и другого. Все это отдавали Гебелеву, а потом отправляли в партизанские отряды. Нас никто не информировал, куда и кому именно идут эти вещи. Таким образом мы проводили эту работу под руководством Столяревича, Гебелева и Окуня Зямы до половины февраля.

У нас были связисты для связи с представителем подпольного горкома партии Столяревичем. У меня, Майзлес, была комсомолка Эмма, ранее работала пионерским работником Ворошиловского РК комсомола. В феврале месяце Эмма пришла ко мне и сказала, что со Столяревичем никакой связи нет, так как в городе провал, часть работников подпольного горкома арестована, военный совет разогнан и мы у себя в гетто также должны работу немного свернуть. Связь с подпольным центром мы не могли восстановить до конца февраля, а потом связь снова стала восстанавливаться.

После 2 марта у нас было упадочное настроение, и я лично до 4 марта почти не выходила из квартиры. Было плохое моральное состояние, так как после погрома я видела очень много убитых детей. На работу мы больше идти не могли. Я поставила перед Столяревичем вопрос, чтобы меня отправили в партизанский отряд.

6 марта Столяревич мне сказал, что я с первой партией уйду в партизанский отряд. 11 вечером мне сообщили от Столяревича, что я 12 марта должна отправляться в партизанский отряд с группой, отправляемой туда, и что с собой могу взять одну женщину. Я взяла с собой т. Гурвич.

Порядок отправки: не брать с собой никаких документов. Из дома мы вышли под видом, якобы на базар. Нам сказали, чтобы мы шли на Сенной рынок и там встретиться с мужчиной в черном пальто. Мужчин в черном пальто было много, но к кому нам нужно было обратиться мы не знали. На базаре мы видели еще лиц, которых мы подозревали, что они также направляются в партизанский отряд. Пришли мы к 12 часам, ждали до часу, но никого не видели. Тогда мы пошли на рынок и встретили Геннадия, с которым мы были знакомы. Он у меня, Майзлес, спросил: «Куда идешь», — мы ему ответили. — «Идем с нами». Он сказал: «Хорошо», — и велел пойти вперед. Мы пошли прямо и вслед за нами пошла вся группа, и догнал нас проводник Семка.

Вышли из Минска 12 марта, а 14 марта мы уже были в отряде Осташенка.

11. Репрессии немецких оккупантов

Характерно отметить, что массовые репрессии немцами в городе Минске проводились волнами, определенное время бывает затишье, а затем массовые казни через повешение и расстрелы. Такая одна массовая казнь через повешение в городе Минске произошла в середине октября 1941 года, где было повешено 63 человека[24] . Имеются факты, когда немцы арестовали несколько девушек за то, что их всех дома застали без лат, предназначенных для еврейского населения, а затем они были повешены. На виселице была надпись: «Мы повешены за связь с партизанами».

Виселицы были установлены: одна на сквере у Первого Белорусского государственного театра, другая на сквере площади Свободы, третья на Комаровке, четвертая — на Ляховке, пятая — около Университетского городка. Каждая виселица была рассчитана на 3 человека. Характерно, что массовые репрессии в городе, как правило, совпадали с ухудшением положения немцев на фронтах.

Следует отметить факты издевательского и зверского отношения немецких властей к профессору Ситерману. К Ситерману систематически приезжали немцы, и каждый день над ним издевались. Его заставляли чистить уборные, танцевать и в любых позах его фотографировали, заставляли петь. После всех этих издевательств, его забрали и где он теперь — нам не известно. Когда мы ушли из гетто его жена и сын находились там, в гетто[25] <…>

15. Данные о коммунистах, оставшихся в г. Минске

Нам известны следующие коммунисты, оставшиеся в городе Минске при немецкой оккупации, на 12.III-1942 г.

1. Шуссер Надя — председатель фабкома фабрики «КИМ».
2. Иосилевич Абрам — работал в системе Белкоопинсоюза.
3. Умань Нина — работала в Нархозучете.
4. Хайкина — педагог.
5. Шулькин — работал в Наркомлесе.
6. Оппенгейм — рабочий печатник.
7. Кисель — прокурор Ворошиловского района.

8. Лившиц — пропагандистка.
9. Певзнер — работница фабрики «Октябрь».
10. Розина — Белаптекоуправление.
11. Розова — инспектор горпищеторга.
12. Копелевич — работал в ГУМе.
13. Гурвич Лева — пом. секретаря Сталинского райкома КП(б)Б.
14. Дуберштейн Соня — инструктор отдела кадров Сталинского райкома партии.
15. Дуберштейн — библиотека имени Ленина.
16. Красносельский — директор первой клиники.
17. Гимпелева Соня — плановик Наркомлеса.
18. Фамилии не помним — директор многотиражки «Большевик».
19. Чипчин — директор Дома печати.
20. Гебелев Миша — пропагандист Сталинского РК КП(б)Б.
21. Екельчик — радиокомитет.
22. Мойсеевич — зам. директора Главрыбпрома.
23. Фай — ЦК КП(б)Б.
24. Нароцкая — председатель МК ясельных работников.
25. Мельцер — зам. директора Электропрома.
26. Будник — рабочий фабрики имени Кагановича.
27. Пруслина — Академия наук БССР.
28. Каждан — рабочий фабрики «Октябрь».
29. Каждан — сестра заместителя председателя горсовета.
30. Каждан — зам. директора детского универмага.
31. Рубенчик — директор детского универмага.
32. Максимов — Белшвейтрест.
33. Элентух — рабочий фабрики «КИМ».
34. Шмуклер — фабрика «Октябрь».
35. Лившиц — —»—
36. Фамилию не помним — секретарь парторганизации первой клиники.
37. Гурвич — инженер.
38. Каждан — детский врач.
39. Либо — отдел кадров Белшвейтреста.
40. Шавель — Белшвейтрест.
41. Левин — фабрика «Октябрь».
42. Левенчик — —»—
43. Гелер — электротехник.
44. Каждан — инженер.
45. Ханин — РИК Кнышино.
46. Мирский — рабочий Водоканалтреста.
47. Фридман — работал по линии кооперации.
48. Верткин — нач. цеха з завода имени Ворошилова.
49. Мерсон — ДКА.
50. Динерштейн — врач.

51. Фамилию не помним — директор 8-й школы.
52. Палтер — Белкопинсоюз.
53. Данемон — зам. директора фабрики «8-е Марта».
54. Горелик — Белкопромсовет.
55. Фамилию не помним — зав. детскими яслями № 45.
56. Окунь Зяма.
57. Соловейчик — рабочий фабрики им. Кагановича.
58. Савицкий — инженер-мелиоратор Главрыбпрома.
59. Мельцер — председатель фабкома ф-ки «1-е Мая».
60. Александрович — директор кожзавода в Белостоке.
61. Фамилию не помним — первый стахановец фабрики им. Кагановича.
62. Лёсик — работал на фабрике им. Кагановича.
63. Фейгина — работница фабрики «Октябрь».
69.[26] Тейшова — райком МОПРа.
70. Либо — рабочий завода имени Молотова.
71. Ларочкин — директор средней школы.
72. Добин — корреспондент газеты «Октябрь» по Белостоку, писатель.
73. Ломкис — работница фабрики «Октябрь».
74. Фамилию не помним — председатель фабкома фабрики имени Крупской.

16. Данные о коммунистах, погибших в г. Минске

Нам известны следующие коммунисты, погибшие по состоянию на 12 марта 1942 г.

1. Язмирь — работал в системе Белкопромсовета.
2. Дабутская — зав. детяслями № 13.
3. Райхельсон — председатель Ворошиловского РК МОПРа.
4. Каган Миша — директор гастрономов.
5. Сагалович — зам. директора гастрономов.
6. Каганов — директор фабрики «Октябрь».
7. Курлянц — председатель обкома профсоюза Медсантруд.
8. Гавронская — зав. санаторием «Новинки».
9. Флейшер — зав. детяслями.
10. Каждан — инженер-геолог.
11. Прусакова — зам. Наркомпищепрома БССР.
12. Юдковский — бывший директор швейной фабрики в Бобруйске.
13. Бендитова — его жена.
14. Маршак — председатедь УПС швейников.
15. Пруслин — школа пропагандистов при ЦК КП(б)Б.
16. Фельдман — место работы нам не известно.
17. Баскин — рабочий завода «Большевик».
18. Гельфанд Берта — зав. отделом кадров военного завода.
19. Елькина — зав. детяслями № 8.
20. Розенберг — зам. директора швейной фабрики им. Крупской.
21. Фунт — продавщица универмага.

22. Фамилию не помним — медсестра 2-го клингородка.
23. —»— — председатель фабкома фабрики им. Куйбышева
24. —»— — секретарь парторганизации ф-ки «8 Марта».

## Данные о себе

1. Майзлес Ента Пейсаховна, 1899 года рождения, уроженка г. Могилева, БССР, по национальности еврейка, член партии с 1920 г. С 1934 г. по июнь месяц 1940 г. работала на руководящей партийной работе в районе, в качестве зам. начальника политотдела МТС по политчасти, а затем инструктором Ворошиловского РК КП(б)Б г. Минска. Перед войной — начальник спецчасти Главрыбпрома в гор. Минске.

В Минске осталась с дочерью и трехлетним сыном.

В гетто находилась с 1 августа 1941 г. по 12 марта 1942 г. Будучи в гетто, имела связь с представителем подпольного городского комитета партии города Минска Столяревичем и при его содействии была направлена в партизанский отряд, где находилась с 12 марта по 12 сентября 1942 г. В отряде все время работала поваром 2-го взвода 3-й роты. Работала агитатором в отряде.

12 сентября командованием бригады направлена за линию фронта с мотивировкой — за невозможностью использования в отряде.

По пути движения являлась комиссаром группы. За линию фронта отправлялось 67 человек.

Дочь Ремо, пользуясь тем, что она записана по фамилии отца — Кравченко, осталась в городе Минске. Также в Минске в русском детском доме остался сын Вова в возрасте трех лет.

2. Гурвич Фрида Шлемовна, 1902 года рождения, уроженка г. Минска, по национальности еврейка, член партии с 1931 г.

С 1932 г. работала на фабрике «Октябрь», а с 1934 г. на базе Швейсбыта Белоруссии в качестве заведующей бельевой секцией.

25 июня 1941 г. выбыла из г. Минска в Смолевичи в поисках Кагановичского РК партии для получения указания как член партии. Однако прибыв туда, райкома там уже не было, он уже оттуда выехал. После указанных блужданий, я с некоторыми другими коммунистами прибыла в Червень, где явилась в РК партии. Однако не получила там соответствующего направления и указания. В тот же день по прибытию нас в Червень, город был занят немцами и мы решили двигаться в г. Минск.

Девятого июля прибыла в г. Минск. С первого августа 1941 г. по 12 марта находилась в гетто, где состояла в подпольной «десятке»[27]. Руководителем «десятки» была т. Майзлес.

12 марта вместе с т. Майзлес была переправлена в партизанский отряд, где находилась по 12 сентября 1942 г. В отряде работала в качестве повара, санитарки и участвовала в одной операции по взрыву мелких мостов.

12 сентября командованием бригады направлена через линию фронта с мотивировкой за невозможностью использования в бригаде.

Муж находится в РККА, а сын перед войной учился в военной танковой школе в г. Калуге, где он в настоящее время не знаю.

Записано с наших слов:

Майзлес

Гурвич

Беседу проводил
ст. пом. начальника отдела по информации Коссой

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 136. Л. 12 —24. Подлинник.

**№ 3. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с бывшей узницей Минского гетто Х.И. Рубинчик**

**22 февраля 1944 г.**

Беседа с т. Рубинчик Ханной Израилевной,
находившейся в гетто г. Минска с 1.8.1941 г. по 24.12.1941 года

(еврейка, 1914 г. рождения, беспартийная, до войны работала инженером Наркомата автомобильного транспорта БССР)

Беседу проводил т. Коссой Н.А.
22.2.1944 г.

ВОПРОС. Расскажите о первичных мероприятиях немцев по отношению к еврейскому населению г. Минска в первые дни оккупации?

РУБИНЧИК. 15 июля был вывешен приказ за подписью Кайзер и Томаша об организации еврейского гетто. В этом приказе указывалось, что евреи должны в обязательном порядке переселяться в гетто. Те, которые будут обнаружены не в гетто, будут расстреляны. В территорию гетто входили улицы: Раковская, Немига, Республиканская, Обувная, Коллекторная, Сухая, Юбилейная площадь, ул. Опанского, Татарская, Замковая и Подзамковая, ул. Шевченко, Техническая, ул. Освобождения. Тут же в приказе было указано, что территорию гетто сами евреи должны огородить каменной стеной, и должен быть один выход из гетто по Раковской улице и выход оттуда будет разрешаться только по пропускам на работу. Переселиться в гетто нужно было до 20.7. Разрешалось забрать с собой все имущество. Русские и лица других национальностей из этих районов должны были переселиться.

С 1.8 гетто было уже оформлено. Выход за пределы гетто запрещался. На каждом углу улиц висели таблички с надписью на двух языках — белорусском и немецком: «Уступ не жидам забаронен», «Анйгриф нихт юден ферботен».

Примерно через неделю после того, как население переселилось в гетто, начались облавы. Первая облава была 7.8, тогда было взято человек 800 мужчин. Их

взяли якобы на какие-то работы, но больше эти люди не вернулись. Врывались в дома, забирали подростков, стариков, мужчин. По улице идет человек, его забирали, ничего не разбирая. Даже стариков-инвалидов и тех забирали. Такие облавы проводились примерно каждую неделю. Предварительно оцеплялся район гетто пулеметами со всех сторон, чтобы не было никакого выхода, и людей вылавливали таким же методом, как собак.

На работу водили под конвоем, который был вооружен резиновыми плетками. Население гетто использовали на черных работах — по очищению улиц, по подготовке к озеленению, в районе товарной станции. С работы люди возвращались с кровоподтеками, избитые, а многие совершенно не возвращались, их там убивали.

В жилых помещениях гетто была жуткая скученность населения. Примерно на площади из 10 м$^2$ жило 6—8 человек. Официально на каждого человека разрешалось норма 2 м$^2$, но эта норма не выдерживалась. Примерно выходило 1,5 метра на человека.

ВОПРОС. Имели ли место факты сопротивления не еврейского населения при освобождении своих квартир?

[РУБИНЧИК]. Мне такие факты не известны.

Кроме жителей г. Минска, в гетто согнали также евреев, которые находились в близлежащих местечках, и тех евреев, которые во время бомбежки уходя из города, застряли в Пуховичах, Червене, и которых вернули в Минск. Всего к началу организации в гетто находилось до 80 тысяч евреев.

ВОПРОС. Что вы можете сказать о внутреннем распорядке и администрации гетто?

[РУБИНЧИК]. Еще до организации гетто немцами был назначен еврейский комитет, который руководил переселением евреев. О создании комитета в городе висело объявление, что «Жид Илья Мушкин назначен старшиной жидовской рады».

ВОПРОС. Кто еще входил в состав комитета?

[РУБИНЧИК]. Ришелевский был назначен заместителем Мушкина, сам он из Западной Белоруссии, Иоффе — из Западной Белоруссии[28], Бляхер, Блюменшток, Резник, Серебрянский. Еврейский комитет помещался в б. помещении отделения милиции на Юбилейной площади. Мушкин и его заместитель носили белые повязки с надписью «Юденрат». Евреи все в обязательном порядке должны были носить опознавательные знаки из материала желтого цвета, круг диаметром 10 см на груди с левой стороны и на спине. Появлявшихся без опознавательных знаков, немцы расстреливали. Еврейский комитет провел паспортизацию и регистрацию всего населения гетто.

Перед переселением в гетто на евреев была наложена контрибуция. Размер ее: советскими деньгами 2 миллиона, 200 кг серебра, 10 кг золота и так как контрибуция была выполнена, разрешили срок переселения в гетто перенести на 10 дней — с 20 июля по 1 августа 1941 г.

Вначале в гетто были организованы две больницы, которые обслуживались евреями. Были организованы детдом для детей, которые остались без родителей, дом инвалидов и престарелых. В доме инвалидов и престарелых было всего не-

сколько десятков человек; в детдоме было всего человек 30 детей. Кормили их два раза в день, давали 200 г хлеба и две тарелки баланды. Медикаментов никаких не было. Торговля на территории гетто была запрещена категорически, также было запрещено пользоваться электричеством, богослужение, посещение кино, театров, парков и хождение по тротуару в русской части города. Когда евреи направлялись на работу, они должны были ходить только по мостовой.

Как же питалось еврейское население? Правда, те, которые работали, получали по 200 г хлеба и тарелку баланды в день. В основном население питалось за счет обмена вещей с крестьянами. Это преследовалось, но крестьяне подходили к границам гетто, подвозили продукты, евреи подходили к проволоке, договаривались об обмене, быстро передавали вещи и разбегались в разные стороны. Если в это время нагрянет полиция или немцы, так в лучшем случае отберут вещи, а в ряде случаев расстреливали на месте. Таких случаев расстрела за производство обмена было очень много.

Уже в первые дни заселения гетто было очень много случаев голодной смерти. У многих все имущество сгорело, из вещей ничего не осталось, и нечего было менять. Старики, неприспособленные к работе, приходили в комитет просить помощи, комитет же не имел чем помогать. Ежедневно из помещения комитета выносили по 5—6 трупов.

ВОПРОС. Как было огорожено гетто?

[РУБИНЧИК]. Гетто было обнесено колючей проволокой. Но она была не сплошной. Были такие улицы, по которым проезжали немцы на машинах и они оставались не огороженными. Так как гетто находилось не на окраине, а в середине города, и русскому населению приходилось проходить через район гетто к себе домой, для того, чтобы изолировать их от евреев по улицам Опанской и Раковской были врыты столбцы, обтянутые колючей проволокой, и по дороге между проволокой проходили русские к себе домой.

ВОПРОС. Кто из представителей оккупационных властей, кроме еврейского комитета, возглавлял гетто?

[РУБИНЧИК]. Управлял гетто немецкий ставленник, некий Городецкий Владимир, русский, до войны он работал в Ленинграде. С приходом немецкой власти перебрался на оккупированную территорию. Он даже хвалился, что наших людей учил истории партии, а мы его не могли распознать. Это такой изверг, каких история не видала. Молодой, ему лет 25. Он приезжал в гетто в сопровождении злой собаки и никогда не ходил по улицам без плетки. Очень часто он сам устраивал уличные грабежи. Как они сопровождались? Он на какой-нибудь улице поставит охрану с обеих сторон и приказывает всем жителям собраться в одной квартире, предлагает им взять все ценности, которые у них есть. Вызовет какую-нибудь женщину:

— Отдавай золотые часы.

— Что вы, пан, у меня нет золотых часов.

— А ну-ка, выйди на улицу. — Выходит. Выстрелит два раза вверх и говорит:

— Иди быстро домой, принеси, иначе в следующий раз буду стрелять в тебя. — Заходит в комнату и обращается к другим.

— Слыхали, через десять минут будет с вами то же самое. И все, что есть, конечно, дают ему.

Не стеснялся он и на такие вещи: идет человек по улице, девушка, мужчина, он затянет в коридор, раздевал донага, обыскивал. Когда что-нибудь ценное найдет, заберет и отпускает. Впоследствии он уехал в Германию, а вместо него был назначен немец Рихтер.

Одновременно Городецкий управлял лагерем военнопленных по Широкой улице. Там в его ведении были парикмахеры, сапожники, портные. Если, допустим, портной плохо ему разутюжит брюки, он мог такую вещь проделать. Вызовет к себе этого портного, конечно, из числа евреев, берет пистолет, спокойным шутливым тоном говорит:

— Отойди на 10 шагов.

— Смотрите я сейчас ему снесу череп. И сносит ему череп.

ВОПРОС. Где он работал в Ленинграде?

[РУБИНЧИК]. Он говорил, что обучал студентов истории партии.

ВОПРОС. Какие методы ограбления населения проводились еще оккупантами кроме контрибуции, наложенной до переселения евреев в гетто?

[РУБИНЧИК]. Контрибуции накладывались на евреев очень часто, примерно каждые две недели новая контрибуция. Каждый раз давали один день для выполнения контрибуции. Если по истечении дня контрибуция не будет выполнена, немцы угрожали. Во-первых, объявлялось определенное количество заложников за невыполнение контрибуции, во-вторых, угрожали устройством внеочередных погромов. Население, конечно, боялось этих угроз и вносило золото, деньги и серебро.

Но это все было до поры до времени. Потом все запасы иссякли и, когда они почувствовали, что действительно больше ничего нельзя вытянуть, они начали налагать контрибуции вещами. В порядке приказов было объявлено сдать все имеющиеся отрезы, все кожаные изделия, электроприборы, все меховые изделия, ковры. Потом каждый раз приходили с такими списками-заявками, что им нужно собрать постельных принадлежностей 250 комплектов, простынь, одеял, причем одеяла должны быть драповые, пододеяльников, подушек, скатертей, посуду, всякую хозяйственную утварь. Примерно в конце октября был вывешен приказ сдать абсолютно все, что есть в доме, оставить себе только смену постельного и смену нательного белья. Если в доме будет обнаружено что-нибудь из этих вещей, которые должны быть сданы, эти люди будут расстреляны. Это было особенно тяжело потому, что люди жили за счет обмена вещей, и раз приходилось все сдавать, вставал вопрос, чем питаться.

Таким образом, кроме приказов о контрибуциях, которые налагались на еврейское население, приходили с отдельными заявками в гетто на изъятие вещей, одежды, свечей, мыла, тарелок, мясорубок, тазов; однажды в одном из приказов требовали 4 рулона клозетной бумаги.

В гетто была организована специальная дружина порядка из евреев. Они не были вооружены, носили желтые повязки. Эти дружины проводили в жизнь приказы немецких оккупационных властей по ограблению еврейского населения.

Помимо всяких контрибуций и налогов, еврейское население грабили полицейские, одиночки немцы — солдаты и офицеры, которые приезжали на машинах среди белого дня и знали, где имеются более или менее приличные вещи, нагружали все на машины и уезжали.

ВОПРОС. Какие еще суммы были наложены на еврейское население, кроме первой контрибуции?

[РУБИНЧИК]. Помню еще контрибуцию в сумме 500 тысяч рублей советскими деньгами, бриллиантов, изделий платиновых, изделий золотых (количество не помню). Затем была одна контрибуция: 300 тысяч рублей советскими деньгами и другие ценности.

ВОПРОС. Какие вам известны факты уничтожения еврейского населения, находящегося в самом гетто?

[РУБИНЧИК]. Еще до погромов и в период между погромами немцами практиковались ночные бандитские налеты. Эти бандитские налеты вошли в систему, буквально еженощно уничтожались одна—две семьи. В этих бандитских налетах принимали участие немцы вместе с полицейскими. Как правило, они всегда были пьяными. Я могу рассказать о двух подобных бандитских налетах. Одного я была очевидицей, так как семья, которую уничтожили, проживала против нас. С наступлением темноты стучались в дверь. Если мы не открывали дверь, они взрывали дверь гранатой, входили в квартиру. Конечно, выйти из квартиры никто не мог. Начиналось истязание людей, вырывали бороды, девушкам отрезали груди, насиловали, выкалывали глаза. Мне известны факты истребления в ночных налетах родителей Мушкина, его отца, мать и сестру, семьи Коварских из 11 человек, которые проживали по Фруктовой улице. Уничтожение семьи Коварских произошло следующим образом. Постучали в дверь ночью пьяные бандиты. Сын Коварских им открыл дверь. Они его тут же на пороге убили и вошли в комнату. На кровати лежали двое малых детей — две девочки 5 и 9 лет. Когда они услыхали шум, они прижались друг к другу. Их обоих пристрелили. Отцу вырывали бороду, кололи штыком, потом застрелили. Девушку, лет 19, заставили раздеться догола, издевались над ней, заставили танцевать на столе, штыком кололи ей ноздри, а затем уничтожили. Откуда все эти подробности мне известны? Под кроватью спрятался один из сыновей Коварских, которому удалось уцелеть.

Еще один случай. Одна наша соседка (Берман Аня), которая с нами жила, ушла куда-то обменивать вещи. Она была похожа на русскую. Долго она не возвращалась, мы уже стали беспокоиться. Явилась она в 8 часов вечера и рассказала нам следующее: когда она шла домой, она проходила мимо одного дома, выскакивает полицейский и спрашивает:

— Жидовка или русская?

— Нет, русская.

— Чего шляешься?

— Я иду домой, мне нужно пройти через гетто.

Полицейский ее и еще одного русского парня втолкнул в дом, завязал им обоим глаза, посадил в отдельную комнату и сказал — все, что услышите или увидите, под страхом смерти никому не говорите. И начал истязать семью, проживавшую

в этом доме. Потом, когда полицейский ушел, и женщина вышла, она увидела на полу лужи крови, лежали истерзанные трупы с распоротыми животами, с выколотыми глазами, с отрезанными ушами. Трудно себе представить, что там творилось. Перед тем, как уйти, полицейские забрали все вещи.

Знаю еще два подобных случая ночных налетов. Один из них происходил в квартире в том дворе, где проживал мой брат. Когда немцы постучались в квартиру, старуха открыла дверь. Они ее тут же резанули финкой по лицу и потребовали девушек. Она говорит — нет девушек. Они с фонарем вошли в квартиру и начали освещать кровати. На одной кровати лежала девочка лет 10—11. Они ее подняли, увидев, что это еще ребенок, они впустили ей в бедро какую-то сыворотку. Как потом врачи определили, они впустили ей венерическую заразу. Я потом сама разговаривала с этой девочкой, у нее начало тело разлагаться. Знаю еще один случай с девочкой, когда немцы пустили ей венерическую заразу в пятки.

Когда в гетто произошел случай с семьей Коварских, еврейский комитет в лице Мушкина заявил немецким властям, что ночью в гетто происходят бесчинства. Приходил офицер, который извлек пулю из убитого человека, посмотрел и говорит:

— Это пуля не немецкого происхождения, поэтому за эти действия немецкие власти не отвечают, и в дальнейшем к нам с такими заявлениями не обращайтесь. Семья Френкель, проживавшая по ул.[29], была уничтожена таким же бандитским способом.

Немцы издевались над еврейским населением также на работе. Евреи посылались исключительно на черные работы — рытье ям, окопов, уборка города, очень часто евреи выполняли совершенно никому ненужную работу — вырывали ямы и засыпали их снова.

Знаю о таком случае, когда однажды один из работающих евреев не выполнил норму. Они его заставили рыть себе могилу, причем, после того, как он немного пороет, они его заставляли ложиться, чтобы померить, достаточно ли. Пока он вырыл могилу, они его заставляли очень много раз мерить, потом они его расстреляли. Однажды осенью 1941 г. (примерно, в октябре), немцы решили, что евреи очень грязные, и что их нужно выкупать. Они бросали людей в холодную воду в одежде. Четверо брали одного человека: двое за руки, двое за ноги и по команде — раз—два—три, раскачивали и бросали в воду. Кому удавалось выплывать и выходить на берег, они еще повторяли.

Первый погром над евреями был 7 ноября 1941 г. О подготовке погрома население гетто знало еще 6 ноября, потому что в этот день специалистов, которые им нужны были, в том числе и членов еврейского комитета, заранее вывели из гетто в русскую часть города. 7 ноября в 5 часов 30 минут весь район гетто был оцеплен, были установлены пулеметы, причем, как нам потом стало известно, немцами был заранее составлен план погрома. Были оцеплены улицы Раковская, Немиго-Раковская, Замковая, Подзамковая, ул. Освобождения, часть Татарской и часть Хлебной. В 5 часов 30 минут утра к каждому дому подъехали вооруженные лопатами и огнестрельным оружием группы, состоящие из немцев, предателей и украинцев, полицейских и литовцев. Взламывали двери, врывались в дома и всех, кто находился дома, выгоняли на улицу. На улице выстраивали в колонны и направляли

всех к Хлебной улице. Там стояли заранее приготовленные автомашины. Для удобства пассажиров к машинам приставлялись стулья. Инвалидов, которые не могли двигаться, они на простынях выносили из квартиры и как дрова вкидывали в машины. Когда машина нагрузится людьми, они ее отправляли. Это был кошмар. Люди уже знали, куда их везут. В машинах кричали, звали о помощи, громко прощались друг с другом, женщины рвали на себе волосы. Русские и белорусские жители, живущие вблизи от гетто, которые слышали эти крики, рассказывали, что они головы прятали в подушки, чтобы не слышать этот крик. В этот день было примерно вывезено тысяч 10 евреев. Возили их в Тучинку, на территорию кирпичных заводов. Так как машины подвозили быстрее, чем пулеметы успевали расстреливать, то привозимых людей пока помещали в холодные бараки. Из этих бараков их подводили по 10 человек к заранее вырытым ямам, заставляли раздеваться и скашивали очередью из пулеметов и автоматов. Пулемет прострочит, они спрашивали — живые еще есть? Кто больше не выдерживал, признавался, их достреливали. Увезли из города всех в 7 часов, а расстреливали 2 дня — 7 и 8 ноября, ибо всех расстрелять за один день не успели. Детей поместили в отдельный барак, продержали на холоде два дня без пищи и воды. Ребята опухли от голода и крика, и полуживыми их бросали в яму.

Некоторым удавалось уходить из-под расстрела. Мне рассказывала Шапиро Нина, девичья фамилия Либович, проживала она до войны на Садовой улице, она внешностью довольно интересная. Когда она сидела в бараке, она разговаривала с немецким офицером, который охранял этот барак. Он ее, очевидно, пожалел и сказал ей: «Беги». Она говорит: «Тогда я возьму своего ребенка». Ее мальчик находился отдельно в другом бараке. Он говорит: «Если через 5 минут не уйдешь, ты отсюда никогда не уйдешь». Она оставила всех родных и ребенка и ушла.

Перед расстрелом всех раздевали, вещи немцы забирали. В первый погром расстреляли тысяч 10, если не больше <…>

ВОПРОС. Верно ли, что когда привезли гамбургских евреев, то ряд должностей, на которых использовали раньше немцы местных евреев, заменялись прибывшими евреями из Германии?

[РУБИНЧИК]. В начале оккупации медперсонал евреев они использовали в своих больницах и госпиталях. Примерно через месяц после организации гетто был вывешен приказ, что евреям запрещено работать в государственных лечебных учреждениях и всех оттуда уволили. Работали ли гамбургские евреи на их месте — я не знаю. Перед тем как евреев выгоняли из всех государственных учреждений, у них предварительно отбирался их инструмент.

ВОПРОС. Известно ли что-нибудь о судьбе детдома, который был создан на территории гетто?

[РУБИНЧИК]. Когда я находилась в гетто, их еще не трогали, но впоследствии их всех уничтожили.

ВОПРОС. Что вам известно об издевательствах и истреблении немцами евреев — деятелей науки, культуры и искусства?

[РУБИНЧИК] Еще до организации гетто в лагере мужчин был расстрелян Екельчик — бывший начальник радиокомитета БССР[30] . Будучи в гетто был унич-

тожен профессор Ситерман. К нему пришли в дом немцы, выволокли его на двор, жутко издевались над ним, заставляли его кувыркаться с живота на спину, со спины на живот, ходить на четвереньках (ему было лет 50). Руками его заставляли чистить уборную. Все это фотографировалось репортерами. Потом его посадили в машину и увезли. Через несколько дней приехали к жене домой и говорят, что вашему профессору Ситерману капут.

Немцы также уничтожили артистку Ф. Ципину из еврейского государственного театра[31].

ВОПРОС. Кем подписывались все приказы о контрибуции, изъятии вещей и т.п.?

[РУБИНЧИК]. Объявления подписывались еврейским комитетом от имени немецких оккупационных властей.

ВОПРОС. Были ли такие приказы в гетто, которые бы подписывались Кубе?

[РУБИНЧИК]. Не помню.

ВОПРОС. Какие мероприятия проводились немцами с целью разжигания антисемитизма?

[РУБИНЧИК]. Немцы всюду кричали, что большевистская власть — это жидовская власть, что у власти стоят евреи, что Сталин еврей и что он просто свою фамилию переделал. Они популяризировали, что евреи это враги русского и белорусского народов, что они с вас кровь пили, что они пользовались их трудом и призывали население помочь немцам уничтожать евреев. В самом начале оккупации в городе было вывешено объявление о том, что уничтожено 100 жидовских и большевистских комиссаров — врагов народа с призывом помогать властям вылавливать и уничтожать их. Немцы объясняли, что все беды, которые выпали на долю русского и белорусского населения, являются результатом деятельности евреев, что Минск не немцы разбомбили, а сожгли его евреи и НКВД.

ВОПРОС. Какие вам известны факты расправы немцев над белорусским и русским населением, пытавшимся придти на помощь еврейскому населению?

[РУБИНЧИК]. Я таких фактов не знаю. Знаю факты запугивания. Бывали случаи, когда семья состоит из людей разных национальностей, то они старались остаться жить в русском районе. Было объявлено, что там, где будут оставаться евреи, то сожгут живьем всех жителей этого дома. И русское население очень часто заявляло евреям, чтобы они уходили из дому, ибо боялись расправы немцев.

ВОПРОС. Когда вы уходили из гетто, сколько оставалось еврейского населения?

[РУБИНЧИК]. Местных евреев оставалось тысяч 40, не считая немецких евреев. Основным местом их уничтожения являлась Тучинка и район кладбища.

Рубинчик

Беседу проводил Коссой

Холокост в Беларуси. 1941–1944.
Док. и материалы. Минск, НАРБ, 2002. С. 179–190.

**№ 4. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с бывшим участником минского подполья В.С. Козаченком**[32]

**26 февраля 1944 г.**

Беседа с т. Козаченок Владимиром Степановичем, находившимся в г. Минске с ноября 1941 по ноябрь 1942 года

(по национальности белорус, уроженец Могилевской области Кличевского района, член партии с 1939 года, до войны работал редактором художественной литературы Белгосиздата в г. Минске)

Беседу проводил т. Коссой
26.2.44 г.

ВОПРОС. Что вам известно о первичных мероприятиях немцев по отношению к еврейскому населению г. Минска?

[КОЗАЧЕНОК]. Истребление еврейского населения немцы начали буквально на второй день после занятия ими города. Сам я лично не наблюдал, но из рассказов минчан знаю очень многое.

30 июня 1941 года немцы согнали всех мужчин, начиная от шестнадцатилетних подростков и кончая стариками, в так называемые лагеря для проверки. Эти лагеря охранялись усиленными нарядами солдат. Там совершенно не кормили, людей избивали. Многие из этих лагерей не вернулись как евреи, так и белорусы, в особенности евреи. Уже тогда, 30 июня, они сидели в этих лагерях от 8 дней до двух недель без пищи и воды. Те, кто имел возможность получать пищу от родных или знакомых, кое-как поддерживали себя. Остальные умирали от голода и пуль. Но главным образом истребляли в этих лагерях мужчин-евреев. Я знаю, что тогда был убит Канторович, который работал в Белгосиздате гравером. В лагерях этих убили очень много евреев, в меньшей степени белорусов.

После того, как эти лагеря были распущены, еврейское население согнали в так называемое гетто. Гетто это занимало район Немиги, хлебозавода, Кальварии около еврейского кладбища по бывшей линии 7-го номера трамвая. Гетто было огорожено колючей проволокой. По рассказам минчан первое побоище было устроено 6—8 ноября, тогда убили 18 000 человек.

Второй погром был не помню какого числа и месяца, вроде в марте 1942 года, точно не могу припомнить сейчас. Тогда было убито 8000 евреев.

Истребление происходило не только такими погромами, но методически путем голодной смерти. Их не кормили совершенно. Те, которые ухитрялись через колючую проволоку передавать остатки своего имущества кому-либо из минчан для обмена у крестьян на продукты, кое-как поддерживали себя, а те, которые не имели этой возможности, умирали от голода. Во-вторых, без всякой причины по малейшему поводу и без повода немцы истребляли население гетто.

Мужчин, женщин и детей принуждали выполнять самые тяжелые изнурительные работы — как погрузка металлолома, кирпича и пр. Я сам наблюдал, как немец избивал железным метром двух еврейских женщин за то, что они, обессилев, не смогли выполнять эту работу.

Кроме того, население гетто было поставлено в такие условия, что в небольшой комнатушке жило по 40 человек. Там была установлена круговая порука. У каждого на спине желтый круглый знак — лата и на груди такой же знак, а внизу под латой, как на спине, так и на груди индивидуальный номер. Если, скажем, из этой квартиры исчезает один жилец, истреблялись все жильцы этой комнаты или дома.

Вид, как у женщин, так и у детей был страшно изнуренный. По одному или два раза в день, при самых тяжелых работах их кормили из грязного котла похлебкой, так называемой «баландой».

Истребление происходило не только массовыми погромами, и методически изо дня в день незначительными партиями. В провинции же по Белоруссии истребление евреев началось уже в октябре 1941 г. и можно сказать, в основном, оно и закончилось в это время. Один человек, фамилии его не помню, рассказывал мне, что он был свидетелем, как истребляли еврейское население в местечке Узляны, недалеко от Минска. Согнали их к яме и из пулемета расстреливали. Часть была убита, а всех раненых и живых вталкивали в яму и закапывали. Земля шевелилась от закопанных живьем людей. Назавтра кругом этой ямы выступила кровь, настолько они мелко были закопаны.

Около местечка Смиловичи я встретил старика. Он мне рассказал такой случай. Это было приблизительно в ноябре 1941 года. Его вывели полицейские и предложили взять с собой лопату, что он и сделал. Невдалеке был ров. Его направили к этому рву. Когда он подошел ко рву, там находились почти все смиловичские евреи. В замаскированном месте стоял пулемет, из которого их расстреливали. Раненых и живых сталкивали в яму, затем бросали туда несколько ручных гранат и приказывали людей закапывать. Когда он начал закапывать яму, его знакомый сосед начал кричать из ямы:

— Петро, что ты делаешь!

ВОПРОС. Что вам известно о ночных бандитских налетах на гетто, кроме погромов?

[КОЗАЧЕНОК]. Столько разговоров и всевозможных слухов ходило по всем этим вопросам, что трудно сейчас что-либо припомнить. Хочу рассказать, как я наблюдал погром 25 июля 1942 года — самый крупный из всех погромов в Минске. Я помню, как около оперного театра 24 июля в 4—5 часов дня были собраны все немецкие железнодорожники организации ТОДТ. По городу ходили полицейские, как шуцманы немецкие, так и русские предатели. Я, конечно, догадался, что это готовится еврейский погром.

Назавтра, 25 июля, я сам видел, как весь район гетто охраняли не только немцы-железнодорожники, но и изменники из украинских батальонов и предатели полицейские. Начиная с 25 и по 29 июля включительно, с утра до вечера курсировали душегубки туда и обратно, причем, вслед за этими душегубками я лично

видел, как 6—7 человек эсэсовцев ходили с автоматами. В душегубках вывозили за город и недалеко от деревни Тростенец их уже мертвых закапывали. Перед этим их раздевали. Тут же была устроена специальная кладовая для одежды, снятой с убитых людей.

ВОПРОС. Откуда вам известно, что это были душегубки?

[КОЗАЧЕНОК]. Об этом совершенно открыто говорили в Минске. Это одно. Во-вторых, машины не были похожи на автобусы, а огромные крытые машины без окон и на замке. Из этих машин слышны были стоны и крики. Всеми этими операциями руководил в то время работавший окружным комиссаром в Минске Канвер. Я сам лично видел, как он приезжал на машине в гетто во время погрома.

ВОПРОС. Из каких источников вам известно, что людей в душегубках отвозили в район Тростенец и что там их раздевали?

[КОЗАЧЕНОК]. Одна женщина, муж ее в Красной Армии, жила только тем, что покупала на базаре кур, яичек, ходила туда, где немцы устроили кладовую награбленного от еврейского населения имущества и обменивала у немцев куры и яички на эту одежду. Потом эту одежду возила в западные области Белоруссии и обменивала ее на продукты. Кроме того, мне минчане говорили об этом.

ВОПРОС. Известно ли вам, хотя бы приблизительно, какое количество евреев было истреблено в июльские дни 1942 г.?

[КОЗАЧЕНОК]. Около 20 000 человек. Четверо суток, днем и ночью их вывозили на душегубках и расстреливали на месте тех, которые скрывались в укрытиях.

ВОПРОС. Сколько душегубок работало одновременно?

[КОЗАЧЕНОК]. Я сам видел партиями по 5—6.

ВОПРОС. Из каких источников вам известно, что в гетто была установлена круговая порука — нумерация под латами? До сих пор сведения о том, что немцы вводили нумерацию, у нас не имелись.

[КОЗАЧЕНОК]. Я лично видел номера на всех жителях гетто. Эта нумерация была введена в мае месяце 1942 года. Евреям было воспрещено ходить по одному и ходить по тротуарам. Общение всего населения с евреями было категорически запрещено. Разговор с евреем часто приводил к тому, что немец уличал в связи с евреями и были факты, что за это погибло много белорусов. В начале июля 1942 года по ул. Ворошилова я совершенно случайно встретил одного знакомого еврея по имени Абраша, фамилию его не помню. Мы с ним были вместе на военном сборе. Я осмотрелся, вблизи никого не было, и спросил его, почему ввели нумерацию. Он сказал, что введена круговая порука. Если исчезал кто-нибудь из данного дома, истребляли всех жителей этого дома.

ВОПРОС. При каких обстоятельствах вы встретили Абрашу?

[КОЗАЧЕНОК]. Их гнали на работу, он попросту рискнул и отлучился.

ВОПРОС. Кроме истребления евреев в июльские дни, о каких погромах у Вас еще имеются данные?

[КОЗАЧЕНОК]. Из рассказов друзей я знаю о мартовском погроме, а погром 25 июля я лично сам наблюдал.

ВОПРОС. Известно ли вам когда Розенберг находился в Минске?

[КОЗАЧЕНОК]. Не только известно, я даже его видел.

ВОПРОС. Во время пребывания Розенберга в Минске были еврейские погромы?

[КОЗАЧЕНОК]. Он был там приблизительно в конце июня, в начале июля 1942 года. В дни его пребывания в Минске евреев сняли со всех работ, даже физических и приказали, чтобы нигде ни одного еврея по городу не было.

ВОПРОС. Приходилось ли вам читать объявления и приказы по вопросу о евреях?

[КОЗАЧЕНОК]. Приходилось.

ВОПРОС. Какие приказы и объявления вы помните и за чьей подписью они были?

[КОЗАЧЕНОК]. Приказов и объявлений было много, большинство из них мне приходилось читать. Все эти приказы обычно подписывались военным комендантом или командующим областью. Там были специальные правила и указания кого надо считать евреем. Читал приказ за подписью комиссара города о создании гетто. Это было в ноябре—декабре 1941 года. Было написано, что «жид» Илья Мушкин назначается председателем «жидовской рады».

ВОПРОС. Что вам известно о контрибуциях и налогах, которые налагались немецкими оккупационными властями на еврейское население?

[КОЗАЧЕНОК]. Мне известно из рассказов минчан, что на гетто в 1941 г. были три контрибуции золотом, что немцы обещали, если они эти контрибуции выполнят, им всем сохранят жизнь.

ВОПРОС. Как выполнялись эти контрибуции?

[КОЗАЧЕНОК]. Точно не могу сказать. Я был слишком занят своей работой и не вникал во все эти детали <...>

Центральный архив Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь. Ф. 3. Оп. 2. Д. 40. Л. 228—232.
Подлинник.

# КОММЕНТАРИИ

[1] Лазарь Яковлевич Ситерман, терапевт, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки БССР (1939). В 1931—41 гг. заведовал кафедрой Минского медицинского института.

[2] Анна Мачиз, юрист, подпольщица, партизанка. Ее показания о событиях в Минском гетто находятся в Национальном архиве Республики Беларусь.

[3] Около 300 детей из Минского гетто были спасены в результате совместной работы подполья гетто и города.

[4] ТОДТ — отряды имперской трудовой службы — полувоенная строительная организация, осуществлявшая строительство шоссейных и железных дорог, а также других объектов. Использовался труд военнопленных, узников гетто, принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий.

[5] Еврейский семейный отряд под командованием бывшего узника Минского гетто Шолома Зорина в своем составе имел около 600 человек, среди которых была боевая группа из 150 партизан.

[6] Польский отряд, встретив в лесу группу еврейских партизан из 9 человек, уничтожил их. Чудом остался в живых один партизан, который и рассказал о случившемся.

[7] Израэль Лапидус, подпольщик, командир партизанского отряда. Весной 1942 г. по заданию подполья гетто создал партизанский отряд, позднее получивший имя Кутузова. В отряде сражалось более 270 человек.

[8] Проводником была Циля Григорьевна Клебанова, 1907 г. р., партизанка бригады им. Пархоменко.

[9] Старое Село — деревня в 20 км от Минска. Во время войны ее жители помогали узникам из Минского гетто уходить в партизанские отряды. В 2002 г. от имени всех спасенных бывший узник гетто, партизан Абрам Рубенчик установил памятную доску на здании школы со словам благодарности жителям деревни.

[10] Михаил Гебелев, один из руководителей подпольной организации Минского гетто. В июле 1942 г. казнен фашистами. В 1965 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 2005 г. в г. Минске установлена мемориальная доска на улице, названной в его честь.

[11] Федор Оскарович Гаусман — терапевт, академик АН БССР. В 1924–1941 профессор, заведующий клиникой госпитальной терапии Минского мединститута.

[12] Расстрелы производились в районе д. Тучинка.

[13] Погром, о котором идет речь, проходил в июле 1942 г.

[14] Июльский погром был 26—30 июля 1942 г.

[15] Лагерь на улице Широкой был создан не только для евреев. Там также находились и военнопленные разных национальностей. Из лагеря на Широкой отправлялись заключенные для уничтожения в Тростенец и в другие лагеря.

[16] В гетто вначале были созданы две больницы — общая и инфекционная, два детских дома, приют для стариков. Через некоторое время немцы перестали оказывать даже прежнюю незначительную помощь этим учреждениям и уничтожили, кроме инфекционной больницы, просуществовавшей до лета 1942 г.

[17] Массовый расстрел узников Минского гетто происходил в районе д. Тучинка, на территории кирпичного завода. Сегодня это район проспекта Пушкина.

[18] Еврейская полиция была создана при юденрате с целью соблюдения порядка в гетто и помощи немецким властям.

[19] На окраине гетто находился карьер, в котором до войны брали песок для кирпичного завода. Сегодня в этом месте находится мемориал «Яма» в память о расстрелянных здесь узниках Минского гетто.

[20] Выход из гетто был организован подпольной организацией гетто.

[21] Председатель юденрата Илья Мушкин убит немцами за участие в подпольной работе.

[22] Зяма Серебрянский, начальник еврейской полиции, был активным участником подпольной организации в гетто. Казнен фашистами в 1942 г.

[23] Под этой фамилией в гетто находился один из руководителей подпольной организации Гирш Смоляр. В 1941–1942 узник Минского гетто, с декабря 1942 г. в партизанском отряде № 1 имени М.И. Кутузова Барановичской области, в 1943–1944 редактор газеты «Голас селяніна». В 1947 г. в Москве вышла его книга «Мстители гетто», в которой он описал историю Минского гетто. В 2002 г. в Минске на белорусском языке опубликована его книга «Менскае гета».

[24] Имеются в виду, видимо, казни в г. Минске 26 октября 1941 г. Известно, что в этот день четыре группы по три человека казнены в разных местах города. Следующая массовая публичная казнь состоялась в Минске в начале мая 1942 г.

[25] Жена профессора Ситермана погибла в гетто, а их сын Яков был выведен из гетто и спасен их бывшей домработницей Марией Харецкой, которая впоследствии получила звание «Праведник народов Мира».

[26] Нумерация ошибочная. Пропущены 64, 65, 66, 67, 68.

[27] Подпольная организация в гетто действовала по принципу «десяток». Десять человек, в основном знакомые или родственники, составляли группу и знали только друг друга. Это позволяло хранить конспирацию.

[28] Моисей Иоффе, выходец из Польши, в начале войны оказался в Минске. В гетто был заместителем И. Мушкина. После гибели последнего стал председателем юденрата и продолжал сотрудничать с подпольной организацией гетто. Погиб в 1942 г.

[29] В документе пропуск.

[30] Михаил Екельчик — один из первых организаторов подпольной организации в г. Минске. В гетто не был, сумел сделать фальшивые документы. Группа М. Екельчика, в которую входил и И. Казинец, активно работала. Был казнен в мае 1942 г. вместе со своей женой, также подпольщицей. В этот же день был казнен и Исай Казинец.

[31] Фаина Ципина не поехала на гастроли в Витебск накануне войны с еврейским театром БССР, где она работала актрисой, потому что ждала ребенка. Она погибла в гетто вместе с двумя детьми и матерью.

[32] Владимир Степанович Казаченок – учасник минского подполья в годы Великой Отечественной войны. С 1936 г. редактор Госиздата БССР. В 1941 г. по заданию ЦК КПБ направлен в тыл противника. В оккупированном Минске участвовал в издании подпольной газеты «Звязда».

# Содержание

Предисловие *И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев* ..... 3

Воспоминания

*Р. Раппопорт.* Остаться собой ..... 9

*Б. Маломед.* Меня расстреляли 2 марта 1942 года ..... 70

Документы

№ 1. Из беседы начальника информационного отделения разведотдела Белорусского штаба партизанского движения И.С. Кравченко с партизаном Р.М. Бромбергом. 8 октября 1942 г. ..... 117

№ 2. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с партизанами бригады «Дяди Васи» Е.П. Майзлес и Ф.Ш. Гурвич. 29 октября 1942 г. ..... 127

№ 3. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с бывшей узницей Минского гетто Х.И. Рубинчик. 22 февраля 1944 г. ..... 143

№ 4. Из беседы старшего помощника начальника разведотдела Белорусского штаба партизанского движения Н.А. Коссого с бывшим участником минского подполья В.С. Козаченком. 26 февраля 1944 г. ..... 151

Комментарии ..... 155

Иллюстрации ..... 157

*Научное издание*

Выжить — подвиг

Воспоминания и документы
о Минском гетто

Составители:
**Герасимова** Инна Павловна
**Селеменев** Вячеслав Дмитриевич

Редактор Н.А. Денисова
Компьютерный набор Е.М. Кирильченко
Компьютерная верстка А.В. Жинкин
Корректор В.И. Горбачева

Подписано в печать 00.09.2008.
Формат 70×100 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. Уч.-изд. л. Тираж экз. Заказ

Государственное учреждение «Национальный архив Республики Беларусь»
ЛИ № 02330/0133452 от 31.12.2004 г.
Проспект Независимости, 116. 220114, г. Минск

Типография ОДО «Новапринт»
ЛП № 02330/0131673 от 27.03.2004 г.
Ул. Купревича, 2. 220141, г. Минск